ДНИ МИНУВШИЕ

ВОСПОМИНАНИЯ
Э. К. ПИМЕНОВОЙ



«КНИГА»
ЛЕНИНГРАД — 1929 — МОСКВА

Обложка работы
художника
Ю. Я. СКАЛДИНА



Ленинградский Областлит № 12265. Тираж 4200 экз. 12½ л.
2-я типография Транспечати НКПС.—Ленинград. Ул. Правды, 15.



ПРЕДИСЛОВИЕ

„Воспоминания" Э. К. Пименовой, охватывающие приблизительно сорокалетие, — от самого начала 60-х годов прошлого века до русско-японской войны 1904-го года [1]) носят характер чисто личный, пожалуй, в значительной своей части — даже интимно-личный. При этом и личная жизнь автора изображена не в виде регулярных записей, а скорее — беллетристически: автор дает нам лишь ряд наиболее ярких сцен и эпизодов, оказавшихся этапами в его жизни. Но, отправляясь от личного и частного, автор то и дело приводит читателя к общему и общественному.

Это, конечно, особенно относится ко второй части воспоминаний, открывающейся 1873-м годом и переселением автора в Петербург, где он сначала окажется одной из пионерок высшего женского образования, а затем, после некоторого промежутка, войдет в литературу и сблизится с главными деятелями передовой нашей журна-

[1]) Автор предлагаемых читателю воспоминаний, Э. К. Пименова, — давнишняя газетная и журнальная работница, сотрудничавшая еще в конце 90-х годов прошлого века в журналах „Мир Божий" и „Русское Богатство" в отделе иностранного обозрения. Ее перу принадлежит, кроме того, длинный ряд талантливых популяризаций (по географии, истории путешествий и т. п.), давно и хорошо известных подрастающему читателю. Из них в Издательстве „Книга" вышли: „Герои южного полюса" (лейтенант Шекльтон и капитан Скотт), „Один среди дикарей" (путешествие Н. Н. Миклухи-Маклая в Новую Гвинею), „Полярный Робинзон" (Приключения капитана Микельсена во льдах Гренландии. Экспедиция 1909 — 1912 г.), „Страны заповедные".

листики второй половины 80-х годов и следующего десятилетия. Но и первая часть, посвященная детству и юности, местами дает материал, ценность которого вовсе не исчерпывается психологией и бытом. Так, почти в самом начале воспоминаний, читатель найдет отражение исторической драмы — польского восстания 1863 г. и его подавления — на судьбах семьи русско-польского состава, проживающей на самой границе польского края. Здесь интимно-личный характер мемуаров придает им даже особенную ценнсть и значение. Не факты, не внешние события извлечет читатель из этих страниц, факты эти давно описаны и известны. А вот отражение их на живой психике восьмилетней девочки, впечатлительной и наблюдательной, разорванность ее детской души, — одна половина которой тяготеет к матери-польке, а другая к русскому отцу; внутренние отношения в такой момент — в польско-русской семье, в польско-русском круге знакомых, родных, домашней прислуги, — на эту тему даны штрихи и черточки, которые позволяют глубже и интимнее заглянуть в эпоху...

Или эпоха шестидесятыхх годов — „эпоха великих реформ", по определению наших „умеренных прогрессистов", — эпоха, „сочетавшая головокружительно-возвышенные перспективы с ощущением близости их реального осуществления", как определял настроение революционной интеллигенции того времени Н. К. Михайловский... Сколько написано об этой эпохе за и против такими убежденными „шестидесятниками", как Шелгунов, или такими „отрицателями", как, скажем, К. Леонтьев. Но вот в воспоминаниях Э. К. Пименовой несколько совсем непритязательных картинок: отмель (три версты в окружности, на Каспийском море; на этой отмели — островке Ашур-адэ разбиты сады и сооружен сторожевой пост русского флота, обитатели (офицеры

моряки с семьями) читают газеты и журналы с опозданием на несколько недель и танцуют под гармонику. Но и сюда, на эту отмель, которую вскоре смоет морская волна, — в среду этого захолустного офицерства, заброшенного судьбою в такую даль от центров, проникают веяния эпохи, с ее „освободительными" идеями, с вопросами об „эмансипации" женщины, о высшем женском образовании и самостоятельном женском труде, — и, поощряемый друзьями, автор воспоминаний вступает в столь типичный для эпохи „фиктивный брак" и едет в столицу изучать медицину. Фактик сам по себе незначительный. Но как интимно дорисовывает он общую картину эпохи, какой красочный вносит в нее штрих...

С 1873 г. автор в Петербурге, на „курсах ученых акушерок" (при Военно-Медицинской Академии), которые исподтишка, втайне от власти предержащей, преобразовываются составом преподавателей в „Высшие Женские Медицинские Курсы", дающие звание врача.

Александр II посещает Медицинскую Академию и женские курсы при ней и вот, радея о благе и прочности курсов, „почетная инспектриса тщательно отбирает для представления царю студенток, не имеющих вида нигилисток" (преимущественно из бывших „смолянок", т.-е. воспитанниц Смольного Института)... А вот профессор анатомии, дошедший в своем курсе до „верхних конечностей" и спускающийся внезапно до уровня таза, когда на лекцию являются чиновные посетители: необходимо скрыть „расширение программы", — акушеркам же изучать „верхние конечности" не полагается. Курьезные, забавные мелочи... Но как они вводят в ту атмосферу, в какой насаждалось у нас женское образование, как заставляют прочувствовать то проклятие вынужденной унизительной изворотливости, которое тяготеет на насадителях русской культуры, удушаемой властью из сообра-

жений „высшей политики“. И ценой этих унижений и приспособлений покупается всего на всего девять лет бытия курсов (с которыми, как известно, покончил роковой 1881 год)... И вот жажда „сочетать реальное с идеальным“ переходит в утопически-революционное настроение, при котором реальной представляется только борьба с властью, и именно среди учащейся молодежи вербуются те кадры пропагандистов и деятелей террора, которые окрасят своими жертвенными подвигами все следующее десятилетие. Такова горькая судьба русской культуры...

Впрочем, это героически-кровавое десятилетие не нашло себе отклика в воспоминаниях Э. К. Пименовой. Объяснение этому можно найти в условиях жизни автора за эти годы: Э. К. Пименова, в качестве женщины-врача, проводит их в Колпине („пристоличном болоте“, как она его называет) — погруженная во врачебную практику среди колпинских рабочих и мелких служащих, обремененная заботой о детях, о пополнении скудного заработка мужа... Этому тусклому в жизни автора периоду зато и посвящено всего несколько строк. Но в 1886 г. автор опять в Петербурге, становится газетным, а вскоре и журнальным работником и сближается с такими видными деятелями общественности и литературы, как Н. К. Михайловский, Глеб Успенский, Короленко, Мамин Сибиряк, А. И. Богданович, Н. Ф. Анненский и др.

Вот на эти страницы „воспоминаний“ мне хочется обратить особое внимание читателя. Здесь даны характерные черточки этих писателей, биографии которых так плохо еще разработаны; здесь прочерчены кое-какие штрихи, рисующие передовую журналистику нашу конца восьмидесятых и девяностых годов, — журналистику, которая явилась огромным, по обширности своей аудитории, общественным фактором и которая не нашла еще своего историка. Э. К. Пименова и здесь остается верной своей манере — тону интимных воспоминаний. Она не покушается на законченные литературные портреты лиц или общие характеристики журнальных направлений и группировок. Опять в „воспоминания“ заносится только лично пережитое: встречи, оставившие сильное впечатление, беседы, запавшие в душу. Но искренно и правдиво переданные эти встречи и разговоры, — несомненно, пригодятся будущим биографам названных писателей, будущему историку нашей журналистики за указанные годы.

С Н. К. Михайловским, лучшим теоретиком народнического движения, завершителем дела Герценов, Чернышевских, Добролюбовых — Э. К. Пименова встречается в тяжелую для него годину. „Родной“ его орган, „Отечественные Записки“, которые были самым ярким и полным выражением последней фазы нашего народничества 70-х годов, где он работал рядом с Некрасовым, Салтыковым, Елисеевым, — в 1884 г. закрыты. Он остается без „своего угла“ — скитается по чужим органам. Весной 1891 г. его высылают из Петербурга в Любань (за участие в похоронах Н. В. Шелгунова). Именно об этой поре — уныло-бездорожной, о поре 80-х и начала 90-х годов — мы находим в его писаниях следующие горькие строки:

> „О наличности какой-нибудь общественной задачи, которая соединяла бы в себе грандиозность замысла с общепризнанной возможностью немедленного исполнения нечего в наше время и говорить. Нет такой задачи. Но нет и гораздо меньшего. А за отсутствием общедоступных точек приложения для крупных талантов, горячей проповеди, страстной деятельности, на сцену выступает вялая, холодная, бесцветная посредственность“...

Так говорит человек после двадцатилетней блестящей литературной деятельности, окруженный любовью рево-

люционных кругов того времени, близкий не духом только, но и делом и личными связями с народовольческими группами. Но к этой поре народовольческое движение, даже в лице последних его представителей — участников покушения 1-го марта 1881 г. — успело погибнуть... Шли годы подлинно-мертвые. Было отчего понурить голову... А от первой до последней — во всех встречах с Михайловским, описанных Э. К. Пименовой, мы видим его все тем же, вечно готовым к бою борцом-общественником, иронически-задорным, иногда раздражительным, но никогда ни „вялым“, ни „холодным“, ни „бесцветным“...

Одна эта черта, ярко закрепленная в воспоминаниях Э. К. Пименовой, может свидетельствовать о размерах этого крупного ума и характера, далеко не получившего еще объективной оценки — среди той бессменно-пристрастной полемики, которая так характерна для нашей литературы всех ее лагерей и направлений.

Полемистом ярым и задорным был и сам Н. К. Михайловский. Э. К. Пименова приводит любопытный отзыв его о всегда „объективном“ В. Г. Короленко и об „мирном“ народнике (под конец воспевавшем „культурные скиты“) С. Н. Кривенко. По поводу „мягкости и снисходительности“ Короленко, Н. К. говорил: „Что-ж делать. Я не похож на него“...

Действительно, похожего в этих двух соратниках и единомышленниках было немного. Многим памятно выступление Н. К. Михайловского на чествовании В. Г. Короленко (по поводу 25-летия его литературной деятельности): в своей речи Н. К. указал на „необычайный факт“, — „за 25 лет писательства Короленко не нажил ни одного врага“ и тут же высказал такое пожелание: „Пусть в следующее 25-летие В. Г. обзаведется хотя бы одним-двумя врагами!“..

Как темпераменты, как индивидуальности, как типы жизнеощущения, эти два человека были почти прямыми противоположностями. Рационалистический склад ума, с резко обозначенным волевым началом, ярко выраженная индивидуальность, упрямо себя отстаивающая, — вот схематическая характеристика Н. К. Михайловского. А жизненная школа, им пройденная, могла только отточить и заострить эти природные данные. Облюбованная еще в юности стержневая идея — „борьбы за гармоническое развитие индивидуальности“, упорное отстаивание за долгие реакционные годы общественных идеалов, из нее вытекающих, горячая приверженность к памяти павших в революционной борьбе товарищей и друзей и постоянное чувство оторванности своей и своих единомышленников от широкого русла жизни „вялого и бесцветного“, — вот что научило его „нетерпимости“, вложило ему в руку не гусиное, а стальное перо.

Короленко был на десять лет моложе его, он не так сросся с эпохой героической борьбы 70-х годов. В конце-концов, он типичный созерцатель, с мистическим налетом в глубинах душевных, а отнюдь не волевой тип. Его причастность к революции скорее результат внешних условий, загонявших, можно сказать, в революцию — просто чистые и впечатлительные души... Основная его идея — такая, сравнительно, мирная, как идея справедливости (повидимому, еще с детских лет запавшая ему в душу под влиянием убежденного „законника“ — отца). В этом смысле, он даже какое-то исключение среди нашей передовой литературы „неумеренность“ которой является общепризнанной в Европе ее чертой. Этим, вероятно, объясняется удивительная удача его в пропаганде элементарных принципов правового строя — в публицистических очерках, которые он вел в „Русской Мысли“ или (вместе с Н. Ф. Анненским) в „Русском

Богатстве". Напомню, что всем известный отказ его от присяги Александру III, увезший его в Якутскую область,— был отказом от вторичной присяги: первый раз (в качестве железнодорожного служащего) он присягу принял. Значит, и тут сказался все тот же упорный поклонник „справедливости" и „законности". Полемист Михайловский называл настроение Короленки „прекраснодушием" — сообщает Э. К. Пименова. Мы этого определения не примем. А вот полярность этих двух писательских индивидуальностей, этих двух типов общественных деятелей — отметить должны, добавив тут же, что она не мешала им хорошо „притесать" себя друг к другу и рука об руку долгие годы делать такое трудное дело, как создание и ведение строго выдержанного демократического органа в 90-х годах (я разумею „Русское Богатство").

Только эпизодически, к сожалению, мелькает в „воспоминаниях" фигура Глеба Ивановича Успенского — с его „прекрасными скорбными глазами", как отзывался о них, по свидетельству автора, Н. К. Михайловский. Но душевная приветливость, с какой он ободрил молодую женщину, впервые попавшую в писательскую среду, умение вникнуть, войти в ее интересы, заставить других ею заинтересоваться, — как эти штрихи (данные в оценке первого визита автора к Михайловскому) — воскрешают образ этого вечно вдумчивого, вечно душевного человека!.. Автор дает почувствовать и то нежное, чуть покровительственного характера — отношение к нему Михайловского, которое было так типично для дружбы вечного „полемиста" с этим тихим человеком, чувствовавшим святость и террористки („девушки почти монашеского типа") и Венеры Милосской, и так мучительно болевшим от „бесчеловечных отношений" его окружавших... Дружба эта началась еще в 70-х годах, во время работы обоих

в „Отечественных Записках" и продолжалась до самой смерти Успенского (1902 г.).

Верными, хотя и беглыми чертами обрисован Н. Ф. Анненский, с его неиссякаемым остроумием, душевной бодростью, с его живым ораторским даром. Его роль в „Русском Богатстве" (отмеченная лишь передачей отзыва о ней Н. К. Михайловского) была не столь заметной во вне, но очень серьезной по существу. Его глубокое знание нашей провинции, приобретенное долгими годами „лишения столиц", его эрудиция в экономической области, а главное, трезвый и необыкновенно ясный и отчетливый ум делали его незаменимым членом редакции, и блестяще поставленный отдел „внутреннее обозрение", конечно, мог так вестись, как он велся в журнале, лишь под его руководством.

По поводу строк, говорящих о возникновении журнала „Мир Божий", я бы заметил следующее. При всей энергии и талантливости издательницы уже поистине находкой для нее был суровый демократ А. И. Богданович, влюбленный в литературу, буквально одержимый идеей общественной пропаганды путем создания „журнала для широкого читателя", целиком, не щадя себя, отдавший все 24 часа своих суток любимому „детищу"...

„Воспоминания" правильно отмечают, что заслуга превращения „журнала для юношества и самообразования" — в „толстый" литературно-политический журнал (завоевавший 18 тысяч подписчиков), принадлежит Богдановичу. Добавлю к этому, что это было осуществлением давно выношенной идеи, что популяризация науки, с одной стороны, и истолкование насущных политических и социальных вопросов — с другой, было той миссией, которую возложил на себя этот бывший — „народоволец", разочаровавшийся в народничестве и перешедший от утопизма юношеской своей поры к здоровому и трезвому политическому реализму...

Историю возникновения журналов „Русского Богатства“ и „Мира Божия“, сообщаемую Э. К. Пименовой, мне хотелось бы немного комментировать. Получить разрешение на издание журнала в эти годы — было почти неразрешимой задачей (вроде квадратуры круга) для лиц, имевших сколько-нибудь определенную общественную физиономию, не „охранительного“ типа.

В результате не литераторы, будущие фактические редакторы, а случайно приверженные к литературе люди (вроде Давыдовой или Евреиновой) являлись зачинателями журнала. Это — от „политики“, от „власти предержащей“. А вот что шло от эпохи, от самих литературных работников, от широких и все расширяющихся кругов интеллигенции; как только журнал был „зачат“, сейчас составлялось редакционное ядро, из призванных к этому делу людей, и завладевало органом. Сотрудники шли отовсюду, как ночные путники на огонек, и, несмотря на препоны, на все урезки, чинимые „предварительной цензурой“, дело делалось и завоевывало читателя. „Современный Мир“, родившийся из пепла „Мира Божия“, после запрещения последнего в 1906 г. [1]), дорос до цифры 40000 читателей (по данным анкеты, произведенной журналом в 1907 г.).

В заключение — два слова об одном ценном качестве воспоминаний Э. К. Пименовой — об языке, которым они написаны: он отличается той хорошей простотой, которая сделала столь популярной среди широкой читающей массы бесконечную серию популяризаций и книг — „для юношества“, автором которых она является.

М. Неведомский.

---

[1]) За статью А. И. Богдановича о декабрьском восстании 1905 г.

ДНИ МИНУВШИЕ

I.

Маленький островок Ашур-адэ, в юго-восточном углу Каспийского моря, в Астрабадском заливе, почти совершенно утонул в зелени, из-за которой выглядывали беленькие домики с высокими камышевыми крышами. Вдали синеют горы, окаймляющие полукругом персидский берег, лежащий на расстоянии семи морских миль от острова. На рейде острова стоят на якоре несколько военных судов, барж и небольших паровых баркасов, а также большие парусные персидские лодки, привозящие на остров разные товары, рыбу и фрукты из Мазандерана, славящегося своими апельсинами, мандаринами, персиками, виноградом и т. п. вкусными вещами.

Этот маленький островок был моей родиной.

Обращая взор в отдаленное прошлое, я вижу себя маленькой девочкой, в светлой ситцевой блузке, с голыми ножками, играющей вместе со своей сестрой Катей, которая была годом моложе меня, и с другими ребятишками на берегу моря. Берег покрыт глубоким слоем мелких и мельчайших ракушек, песка нигде не видно, а ракушки так славно шуршат и звенят под нашими ногами, когда мы бегаем по берегу, или же когда волны прибоя перекатывают их с места на место.

Старших никого не видать по близости. Возле нас сидел огромный черный водолаз, почему-то названный Барсом, хотя он не имел ни малейшего сходства с этим зверем. Но на острове Барс был известен еще и под именем гувернантки или охранителя детей. Когда дети

убегали к морю и Барс был с ними, то никто не беспокоился. Барс сидел на берегу и зорко следил своими умными добрыми глазами за резвящимися ребятишками. Стоило кому-нибудь из нас забежать далеко в море, как Барс тотчас же бросался за ним в воду и заставлял вернуться к берегу. Если же тот упрямился, то Барс без церемонии хватал его зубами за рубашонку и нес, барахтающегося, на берег. Такие сцены повторялись часто. Барс принуждал нас к повиновению. Но мы все же очень любили его, обнимали и целовали, бегали с ним взапуски по берегу и играли. Эта собака принадлежала начальнику острова и никогда не расставалась с его детьми, а также и с товарищами их игр.

Мы с сестрой не жили на острове. Мы жили на трехмачтовой паровой шхуне „Волга“, которой командовал мой отец. Моя мать почти всегда сопровождала его в плавании и брала нас с собой. Отец очень любил нас и говорил, что хочет воспитать нас, как настоящих дочерей моряка. Мы умели лазать по вантам, знали без запинки названия всех снастей и не боялись ни бури, ни качки. Во время качки отец заставлял нас бегать кругом люка над кают-компанией и петь „Нелюдимо наше море“. Вследствие ли такого „морского“ воспитания или это было наследственное качество, но ни моя сестра, ни я, мы никогда не страдали морской болезнью, несмотря на то, что, разъезжая потом по европейским морям, мы испытывали порой сильную качку.

Шхуна „Волга“ часто приходила с грузом в Астрабадский залив и порой стояла там довольно долго, пока выгружали привезенные ею товары для Персии и затем брала другой груз, обыкновенно, хлопок, чтобы отвезти его в Астраханский порт. Шхуна останавливалась на якоре у Персидского берега или Перибазара, где находилась русская фактория, а мы с мамой это время проводили на Ашур-адэ в гостях у начальника острова.

С шхуной „Волга“ у меня связаны самые светлые, самые яркие воспоминания детства. Каспийское море достаточно бурное, волны поднимаются очень высоко, но в то же время они очень короткие и как-то сразу обрываются, так что в бурю происходит настоящая толчея. Помню одну такую бурю у входа в Апшеронский пролив, в котором незадолго до этого разбился на камнях один военный пароход и потонул его капитан, оставшийся стоять на мостике рядом со своей большой собакой, так как он не хотел сойти с парохода, пока не спасется вся команда. Наша шхуна, однако, выдержала испытание, хотя ее порядочно-таки потрепало. Это было ночью и я помню, как я страшно испугалась, когда меня внезапно окатило холодной соленой водой. Люк в кают-компании снесло в море и через открытое отверстие волна вкатилась в каюту, где я спала наверху, на палатях, и залила все. Мне показалось, что шхуна уже потонула и лежит на дне морском. Я закричала, как будто могла надеяться на помощь откуда-нибудь. Тогда отворилась дверь в маленькую каюту матери, где был свет и я увидела ее на пороге. Она подошла ко мне, шлепая по воде, которой был залит пол в каюте, и цепляясь рукой за стены, потому что сильно качало. Взяв меня на руки, мокрую и дрожащую, она старалась меня успокоить.

— Мы не потонули, мама, не потонули?—спрашивала я.

— Нет, не потонули,—утешала она меня.—Слышишь, матросы бегают по палубе?.. А вот раздается в рупор и голос папы. Ты слышишь слова команды?.. Не надо бояться, моя крошка. Ты знаешь, папа не любит, когда вы с Катей трусите...

Действительно, трусить было нечего. Рано утром мы благополучно пришли в Баку, где оставались довольно долго, потому что надо было исправить повреждения, полученные шхуной во время этой бури.

В Баку вообще мы бывали довольно часто. Тогда это была небольшая морская станция, где останавливались военные пароходы и торговые суда, но не было ни набережной, ни водопровода. Все постройки носили восточный характер,—одноэтажные, без окон, выходящих на улицу, и представляли сплошные белые стены, с воротами или калиткой, дающей доступ внутрь двора. Круглая башня, вышиной в 20 сажень, так называемая „Девичья Башня", стояла почти на самом берегу моря. Теперь на ней находится маяк, но тогда этого не было; эта башня очень занимала наше детское воображение, так как с ней была связана легенда о царской дочери, которая была там в заточении и бросилась оттуда в море.

Пребывание в Баку было всегда полно развлечений для нас. Особенно интересны были поездки на шлюпках на морские огни. За островом Нарген, находящимся у входа в Бакинский залив, нефтяной газ выступал со дна в некоторых местах на поверхность воды и это узнавалось по пузырькам, отливавшим радужными цветами и показывавшимися в волнах. Обыкновенно вечером, когда становится темно, туда бросали с шлюпок зажженную паклю и море сразу воспламенялось. Эта было удивительное, грандиозное зрелище. Волны перекатывались через огонь и из-под них вырывалось пламя. Конечно, надо было большое искусство, чтобы не быть окруженным огнем. Но такой искусный моряк, как мой отец, умел справляться с этой задачей. Следуя своей идее морского воспитания, он брал нас с собой во все морские поездки, что, разумеется, доставляло нам неимоверное удовольствие.

Помню другую интересную поездку на вечные огни, около селения Суруханы, в древний монастырь огнепоклонников—парсов. Тогда еще не существовало добычи нефти в окрестностях Баку, не били нефтяные фонтаны и не были построены нефтяные заводы, как теперь. Небольшой монастырь, окруженный белыми стенами, над которыми пламенело на небе вечное зарево, находился в пустынной местности, в нескольких верстах от города. Посреди небольшого двора, под каменным навесом, пламенел священный огненный колодезь, на дне которого бушевал страшный огонь. Туда парсы бросали своих мертвецов и говорят, что некоторые фанатики сами бросались туда. Кругом, в стенах монастыря, помещались кельи монахов и молельни. Сами они, темнолицые, высокие, в белых одеяниях и тюрбанах, казались какими-то особенными существами, выходцами из другого мира. Мы присутствовали при их богослужении и на меня все это вместе произвело такое неизгладимое впечатление, что оно навсегда сохранилось в моей памяти.

Когда же, спустя несколько лет, мой отец вернулся в Каспий после странствования по России и я снова посетила Баку, то этот город стал неузнаваем. Прекрасная набережная, магазины, европейские дома и чудесные парные извозчики совершенно преобразовали маленькое азиятское местечко, и мало-по-малу скромная морская станция превратилась в крупный промышленный центр. Возникла нефтяная лихорадка, забили нефтяные фонтаны и появились нефтяные заводы. Образовался центр добычи нефти, так называемый „Черный Городок", вечно окутанный копотью и дымом. Монастырь огнепоклонников прекратил свое существование и оставались только белые стены, напоминавшие о нем. Священный колодезь, где бушевал вечный огонь, был засыпан, для того, чтобы не тратился бесполезно драгоценный нефтяной газ. Парсы исчезли. Остался один, вероятно, фиктивный огнепоклонник, который получал жалованье от русских властей для того, чтобы, в случае приезда иностранных туристов, показывать посетителям остатки монастыря и даже совершать богослужение в одной из уцелевших молелен.

Но возвращаюсь к прерванному рассказу.

Наша жизнь на судне разнообразилась только остановками в разных портах, и поездками в персидские города Решт и Астрабад, если шхуна останавливалась на более или менее долгое время в гавани. Разнообразие вносили также бури, да разные случайные встречи, когда на наш пароход приезжали путешественники, высадившиеся в каком-нибудь порту, русские и иностранные коммерсанты, преимущественно англичане, так как в то время не было других путей в Персию кроме, как через который-нибудь из портов Каспийского моря.

Мы с сестрой не скучали на судне и я не представляла себе другой жизни, как жизни на море. С матросами мы были в большой дружбе и очень любили слушать их рассказы о разных приключениях на море. Впрочем, у нас был и товарищ игр—барс, но это был настоящий барс, а не собака, прозванная барсом, как на острове Ашур-адэ. Как-то наши матросы, ездившие на персидский берег за пресной водой, убили на берегу речки самку барса, а ее детеныша привезли на судно. Это было премилое маленькое создание, очень веселое, игравшее с нами, как котенок. Матросы любили и ласкали его. Он особенно был привязан к нашему механику, рыжему англичанину, мистеру Харл, и на ночь всегда забирался к нему в каюту и спал с ним. Когда судно останавливалось в каком-нибудь порту, то барса из предосторожности сажали на цепь и привязывали обыкновенно под трапом на палубе. Туда же выходило окошко из каюты механика, и барс, посаженный на длинную веревку, мог спускаться через него в каюту, на койку механика. Однажды барс чуть не до полусмерти напугал одну пассажирку, жену морского агента, которой механик уступил свою каюту. Пассажирка

приехала на судно вечером, а механик забыл предупредить, чтобы барса привязали в другое место. И вот ночью вдруг раздался страшный крик. Все повыскакали из своих кают. Оказалось, что это кричала пассажирка из каюты механика, звавшая на помощь. Испуг ее был понятен, когда из окошка выпрыгнул к ней на койку какой-то зверь. Про барса она ничего не знала. По счастью, барс еще не был взрослым тогда и не бросался на людей. Бедный звереныш испугался не меньше, чем она, и, весь дрожа, забился в угол койки. Пассажирку едва успокоили и перевели в другую каюту. Но было трогательно видеть, как обрадовался барс, когда пришел механик. Барс бросился к нему и стал ласкаться и заигрывать с ним, точно просил у него прощения за причиненное беспокойство.

Однако, настало все-таки время, когда нам пришлось расстаться с нашим товарищем игр. Он вырос и становился уже опасен для посторонних, хотя для нас он оставался ручным попрежнему. Из предосторожности отец велел матросам отвезти его на берег и выпустить на волю. Они так и сделали. Мы, конечно, горько плакали, расставаясь с барсом, но отец нас убедил, что такому зверю лучше жить на воле. Когда через несколько месяцев наша шхуна опять остановилась у этого берега и матросы были посланы на речку за водой, то они уверяли, что будто бы видели нашего барса. Он вышел из лесу и долго стоял на противоположном берегу реки и смотрел на них...

Я особенно живо помню одну бурю, во время которой мы подвергались очень большой опасности. Но эту бурю мы перенесли не на шхуне, а на маленькой двухвесельной шлюпке. Дело было так. Шхуна пришла в Ленкорань, но так как в Ленкорани не было хорошей гавани, удоб-

ной и безопасной для стоянки судов, то все суда, приходившие в Ленкорань, обыкновенно останавливались далеко за линией бурунов, которые в бурю были очень опасны, и укрывались за островом Сара. Когда наша шхуна остановилась на обычном месте у острова, папа съехал на берег на шлюпке с двумя гребцами. Мы были в гостях у торгового агента, ночевали там и рано утром выехали на шлюпке, ожидавшей у берега.

День был серенький, но тихий. Агент, провожавший нас, уговаривал отца остаться, так как были предвестники надвигавшейся грозы. Однако, папа был уверен, что он успеет доехать до шхуны раньше, чем разразится буря. Он сказал, что оставаться не может, потому что должен в этот же день сняться с якоря и итти дальше в Астрабадский залив. Он еще накануне сделал распоряжение, чтобы на шхуне рано утром начали разводить пары.

Но он ошибся на этот раз. Не успели мы проехать полосу бурунов, как вдруг стемнело, налетел шквал и нашу шлюпку стало швырять во все стороны, точно ореховую скорлупу. Она то поднималась на вершину водяной горы, то низвергалась в бездну и затем, вынырнув снова, карабкалась наверх. Нас заливало водой каждую минуту и одно весло вырвало волной из рук гребца и унесло в море. Отец посадил нас на дно лодки и необыкновенно серьезным, строгим тоном сказал нам:

— Если кто-нибудь из вас пошевельнется или вскрикнет, того я моментально выброшу за борт. Трусов я не люблю!..

Мы сидели неподвижно, плотно прижавшись друг к другу и были так напуганы, что в самом деле поверили в возможность исполнения подобной угрозы. Мама, после каждой волны, обрушивавшейся на нас и заливавшей шлюпку, вычерпывала из нее воду и выливала ее, а папа правил шлюпкой и если бы не его искусство, то мы наверное бы погибли.

Такая упорная борьба с волнами продолжалась почти два часа. Наконец, нас заметили с шхуны, и помощник капитана (т.-е. моего отца) распорядился спустить маленькую спасательную лодку и выслать ее нам навстречу. Мы были спасены!..

Когда мы мокрые и продрогшие вэобрались, наконец, на палубу шхуны, то отец обнял нас и сказал:

— Вы истинные дочери моряка. Я горжусь вами.

Это была высшая похвала в его устах.

Много лет прошло с тех пор, но я никогда, во всю свою жизнь, не могла забыть этих минут, пережитых мной. Я вижу так ясно, как будто это было вчера, маленькую шлюпку среди бушующего моря, окружающие нас огромные волны с белыми гребнями пены, нас, сидящих на дне маленькой лодочки в ногах отца и его грозное, строгое лицо...

II

Эти воспоминания относятся, однако, к более позднему периоду моей жизни, когда я вернулась к своим родителям. Мне было два года, когда моя бабушка увезла меня с собой с юга на север к дедушке, который был сослан в Пермь. Он был поляк, но я сомневаюсь, чтобы он принимал какое-нибудь деятельное участие в польском восстании. Но он принадлежал к польской аристократии и так как многие из его родных участвовали в польском движении, то вероятно и на него пало подозрение. Судя по рассказам, которые я потом слышала о нем, он был очень красивый, веселый, жуир и страстный игрок. Все свое большое состояние он проиграл в карты. Я вспоминаю его высоким стариком внушительного вида, которого я очень любила, так как он ласкал и ужасно баловал меня. Бабушка часто очень сердилась на него за то, что он играл в карты и бранила его, а я, не понимая, в чем дело, всегда защищала его, если ссора происходила в моем присутствии и набрасывалась на бабушку, грозя ей своими маленькими кулачками. Живо помню одну такую сцену: дедушка пришел в комнату бабушки, где находилась и я, и, подавая ей какую-то пачку, сказал:

— Вот, ты все бранишь меня! А я выиграл эти деньги и приношу их тебе.

Бабушка вскочила разъяренная и швырнула в него эту пачку. Разноцветные бумажки разлетелись по комнате и я с криком радости бросилась подбирать их. Спустя много лет, когда я как-то вспомнила эту сцену при

бабушке, она сказала мне, что в пачке заключалось тридцать тысяч и выразила сожаление, что в порыве гнева отказалась тогда от этих денег. Дедушка ушел и в тот же день проиграл их.

В доме своего деда я получила польское воспитание, говорила по-польски и ходила в костел с няней и бабушкой. Дворня у нас были поляки: дворецкий „пан Юзеф“, бывший также камердинером дедушки, жена его Анета была нянькой моей матери, а потом выняньчила меня. Горничная, кучер и кухарка тоже были поляки. Всех их дедушка увез с собой из своего имения и всех отпустил на волю перед своей смертью.

Он умер, когда мне было пять лет. Это было первое сильное горе, испытанное мною. До сих пор помню, как я горько рыдала, поняв, что больше никогда, никогда не увижу его! А затем началось для меня новое испытание. Отец мой был русский флотский офицер. Он познакомился с мамой во время ее кратковременного пребывания в Петербурге, на морском балу, и сразу влюбился в нее, так же, как и она в него. Положение дедушки было очень плохое. Он почти разорился и вероятно был рад, что за его единственную молоденькую дочь посватался блестящий морской офицер. Так как папа получил тогда назначение в Каспий и должен был скоро уехать в Астрахань, то со свадьбой не медлили и папа увез туда молодую жену, а дедушка и бабушка уехали в Пермь. Через два года, когда родилась моя сестра Катя, бабушка приехала и взяла меня с собой в Пермь. Папа приехал за мной, как только получил известие о смерти дедушки и увез с собой меня и бабушку, которая осталась без всяких средств. Тут мне пришлось испытать большую ломку. Меня стали обращать в русскую веру и учить русским молитвам. Мать моя, страстно любившая своего мужа, не противилась этому. У папы был сильный, властный

характер, хотя он был очень добр и благороден. Он подчинил себе маму, которая была еще очень молода. Ей едва минуло семнадцать лет, когда она вышла за него замуж и, кроткая по характеру, она всегда старалась угодить ему. Она стала русской, когда сделалась его женой и за это все родные отвернулись от нее, видя в ней изменницу польского отечества. Но для мамы любимый муж заменил весь ее прежний мир и никакого разлада в ее душе не возникало. Она была совершенно счастлива.

Папа служил в Каспийском флоте, и поэтому я снова очутилась на своей родине. Первое время я чувствовала себя очень несчастной. Со мной обращались строго и никто не баловал меня. Но я все же скоро привыкла к новой обстановке, в особенности тогда, когда мы отправились в плавание вместе с отцом. Тут все было для меня ново и очень занимательно, а главное папа стал очень ласков со мной, убедившись, что я подчиняюсь его „морскому воспитанию" и он может сделать из меня истинную и бесстрашную дочь моряка.

Но это воспитание продолжалось недолго. Отец почему-то вдруг вышел в отставку, бросил морскую службу и уехал в Киевскую губернию. Там сохранилось еще небольшое имение, принадлежавшее моему деду и у моего отца вдруг явилось желание заняться сельским хозяйством. Он вообразил, что сможет спасти это имение, которое было заложено и перезаложено.

— Мне надоела морская служба, — сказал он моей матери. — Ведь я плаваю с пятнадцатилетнего возраста. И теперь мне хочется чувствовать твердую почву под своими ногами.

Моя мама, как всегда, была согласна с ним.

Отец уехал раньше нас, сначала в Петербург, а затем в Киев, а мама с детьми (нас уже было трое тогда) и с бабушкой двинулись в путь потом. Железной дороги тогда еще не было и мы ехали из Астрахани в Киев в большом помещичьем дормезе, на почтовых лошадях. Нас сопровождали: старик „пан Юзеф", бывший дворецкий деда, няня Анета, тоже старушка, его жена. Путешествие наше было удивительное и продолжалось целый месяц. Мы останавливались в разных городах и деревнях по дороге, то для починки каких-нибудь поломок в экипаже, то ради отдыха. Мне очень нравилось это путешествие, остановки и ночевки на почтовых станциях или где-нибудь в деревне. Я в первый раз видела русские деревни, так как прежде никогда не бывала в них. И я находила их гораздо интереснее персидских городов, в которых мы бывали с отцом.

Наконец, мы добрались до Киева и там нас встретил отец.

Имение деда, вернее, усадьба находилась на границе Киевской и Волынской губернии. В этой местности было много польских помещиков и некоторые из них знали моего деда. Между моей матерью и ими весьма скоро установились хорошие отношения, хотя многим из них было известно, что ее родные не хотели ее знать, потому что она вышла замуж за русского морского офицера. Не знаю, что лежало в основе этой внезапной дружбы, — я была слишком мала, чтобы понимать это, — но, припоминая все обстоятельства, думаю, что дружба эта была не совсем бескорыстна. К отцу моему они тоже относились дружелюбно, несмотря на его происхождение и веру, приглашали его к себе, давали ему разные хозяйственные советы и вообще всячески заискивали в нем. Впрочем, отец мой обладал способностью располагать к себе, и особенно дамы ухаживали за ним, так как он

был красив и любезен. Старая графиня Р., стоявшая во главе польского кружка, первая приехала к моей матери и совсем очаровала ее. Она сказала ей, что знала ее отца, когда мама была совсем маленькой девочкой и теперь рада возобновить знакомство с нею и моей бабушкой. И снова в усадьбе стала раздаваться польская речь и даже пение польских романсов и революционных песен: „Boże Coś polskie" и „Z dymom požarov". Мы с сестрой распевали эти песни хором в детской или в саду и к нам присоединялись няня полька и еще кое-кто из дворни. Однажды отец услыхал, как мы поем, и сказал нам:

— Зачем вы поете эти песни, дети? Пойте лучше „Нелюдимо наше море". Разве вы забыли нашу морскую песню?

— Тут нет никакого „Нелюдимого моря",—возразила я.

— Тут есть только польское море, „день и ночь шумит оно",—продекламировала резвушка Катя.

— Какое такое „польское море"? Что ты болтаешь глупости?—удивился отец.

— Поляки, папа, они, как „нелюдимое море", шумят день и ночь,—вмешалась я.

— Где они шумят?—спросил папа, все более и более заинтересованный нашими словами.

— В лесу,—ответили мы обе разом.—Их много там и они шумят, как море.

Папа с минуту помолчал, немного смущенный таким результатом разговора с нами. Потом он махнул рукой и, строго проговорив: „С этим надо покончить!"—вышел из комнаты.

В тот же день нашей гувернантке француженке, впрочем, весьма сочувствовавшей полякам, было сделано строгое внушение, чтобы она лучше смотрела за детьми и нам было запрещено бегать по двору и якшаться с дворней.

Папа все-таки подверг меня допросу. Он призвал меня в кабинет и спросил:

— Откуда ты знаешь, что поляки шумят в лесу? Кто рассказывал это?

Я смутилась, но все-таки ответила.

— Я слышала это.

— От кого?

— Да все это говорят!

— Кто это все?—допрашивал папа.

— Ну, например, старик лесник. Он их видел...И другие...

— Этому надо положить конец!—еще раз повторил папа и отпустил меня.

Дело в том, что наша усадьба стояла в лесу, который граничил с Волынской губернией, где уже начали действовать польские банды.

Вскоре после этого разговора наша гувернантка, молодая француженка, ушла от нас. Она вышла замуж за какого-то поляка, с которым уехала в Варшаву. По желанию папы к нам взяли пожилую английскую мисс, которая должна была нас „подтянуть", как выражался папа и держать в строгости. На маму он в этом отношении совершенно не полагался.

Недалеко от нашей усадьбы находился древний Кармелитский монастырь, окруженный рвом, высокими стенами с бойницами и с подъемным мостом, совершенно напоминавший средневековую крепость. Подъемный мост, впрочем, уже не действовал и превратился в постоянный. На мост вели большие ворота и от них начиналась длинная улица, по сторонам которой находились лавочки, где продавались священные предметы — образки, крестики, ладанки и священные книжки, а также бутылочки со святой водой. Торговля шла очень бойко, особенно по

праздничным дням, когда масса окрестных жителей поляков отправлялась в костел посредине большого монастырского двора, чтобы присутствовать на торжественном богослужении и поклониться чудотворной иконе божьей матери. Когда началось польское движение, костел был всегда полон народа.

Настоятелем монастыря был дядя моей матери, очень высокий и важный старик. Мама навещала его, при чем всегда брала меня с собой, так как я немного болтала по-польски. Старик ласкал меня, сажал к себе на колени и угощал сластями и фруктами из монастырского сада. Он был чрезвычайно доволен, когда на его вопрос, помню ли я польские молитвы, я бойко, без запинки, процитировала ему некоторые из них и, по его желанию, прочла без ошибки по-польски страничку, на которую он мне указал из какой-то священной книги.

— Хорошо, хорошо, — сказал он и погладил меня по голове, а мать мою похвалил за это. Он подарил мне маленький золотой образок, говоря, что это его благословение и я должна хранить его и никогда не расставаться с ним.

Особенно памятно мне мое последнее посещение монастыря. Это было уже после того, как началось польское восстание. Старик настоятель, видимо, был чем-то очень взволнован. Он не посадил меня к себе на колени, а, угостив сластями, — я хорошо помню, что это были засахаренные фрукты, — дал мне какую-то большую книгу с чудесными картинками, которую я стала рассматривать. Видимо, он сделал это, чтобы занять меня и начал очень горячо говорить о чем-то с мамой. Я разобрала только одну фразу, произнесенную им на прощание.

— Ты не должна забывать свое происхождение и своей „ойчизны" (родины), — сказал он.

Мама поцеловала ему руку и заплакала. Он благословил ее и меня поцеловал в лоб.

Я видела его в последний раз, так как вскоре после этого он был найден убитым в своей келье. Помню, что я очень плакала, когда узнала об этом от няни. Я с особенным чувством прижимала к губам образок, подаренный им и произносила при этом польские молитвы, которые помнила. У мамы тоже были заплаканные глаза, но, мне кажется, она не решалась громко выражать свое горе и не заговаривала со мной об этом. Она была на его похоронах, но меня не взяла с собой.

Дома у нас господствовала какая-то беспокойная, напряженная атмосфера и я, несмотря на свой очень юный возраст, чувствовала это. Отец ходил нахмуренный и я слышала, как он, однажды, сказал моей матери:

— Мари, не забывай, что ты жена русского флотского офицера!..

Бедная мама! Я только впоследствии поняла, какую страшную драму она переживала тогда. Я рассказала уже, что она вышла замуж очень молодой, по страстной любви и пока она жила исключительно в морском обществе, плавала с мужем на судах, переносила с ним вместе бури и опасности и посещала только русских и иностранных дипломатов в персидских городах, она не чувствовала никакой национальной розни между собой и мужем и никакие проклятые вопросы не терзали ее душу. Но когда она снова очутилась в усадьбе, в которой когда-то родилась, побывала в Житомире, где когда-то училась во французском пансионе, встретилась с некоторыми из своих старых подруг и снова услыхала вокруг себя польскую речь, то в душе ее начался раскол. Она вдруг почувствовала себя полькой.

У нас часто бывал один молодой человек, которого мы, дети, очень любили. Он был какой-то дальний родственник мамы, по крайней мере, он называл ее кузиной. Фамилии его я не помню. Звали его просто пан Казимир. У него был прекрасный голос, он хорошо распевал польские романсы, пел с мамой дуэты и превосходно танцовал мазурку. Помню один импровизированный костюмированный вечер у нас в усадьбе и живые картины, в которых участвовали и взрослые, и дети. Мама была в польском костюме, а пан Казимир в кунтуше и они танцовали мазурку в первой паре. Все находили, что они составляли великолепную пару и наши гости хвалили маму и поздравляли ее. Было очень весело и я помню, что очень гордилась своей мамой. Но я заметила, что папа был чем-то недоволен, хотя дамы, польки, любезничали с ним напропалую и приглашали его танцовать. Он отказывался, называл себя в шутку „неуклюжим морским волком", но маме он сказал, как мне показалось, с некоторым оттенком досады.

— А вот, Мари, ты не сумеешь протанцовать „русскую" с таким же увлечением, как ты танцовала мазурку!

— Сумею!—воскликнула она, задорно улыбаясь и, обратившись к таперу, попросила его сыграть „По улице мостовой".—Мы с Казимиром будем танцовать русскую,—объявила она.

Но папа остановил ее.

— В этом костюме? — сказал он сурово.— Ты не понимаешь, что это было бы насмешкой.

Я видела, что мама вспыхнула, закусила губы, но ничего не ответила. Мне показалось даже, что на глазах у нее навернулись слезы. Пан Казимир разрешил недоразумение, заявив, что не умеет танцовать русскую и сказал что-то таперу. Тот заиграл вальс и в зале тотчас же закружились пары и небольшое замешательство, вызванное словами папы, быстро рассеялось. Только я, всегда следившая за мамой, заметила, что она уже не была так оживлена, как прежде, несмотря на все старания пана Казимира развеселить ее. Зато папа был весел и любезен и как будто старался загладить свою неловкую выходку, выказывая особенное внимание маме и прочим дамам, представительницам польского общества.

Между тем события назревали. Польское общество, бывавшее у нас, поредело. Первым исчез пан Казимир. Он сказал маме, что уезжает в Варшаву, к родным. Последний вечер, перед отъездом, он провел у нас и о чем-то очень долго и серьезно разговаривал с мамой по-польски. Потом пришел папа и они стали разговаривать по-русски, так как мама избегала говорить по-польски в его присутствии. Между тем, папа заговорил о смерти настоятеля и о том, что до сих пор неизвестно, кто убил его.

— Убийца мог быть подослан русскими властями и в таком случае его никогда не откроют,—сказал пан Казимир.

— Вы не имеете права говорить это,—строго заметил ему папа.

— Не ссорьтесь, ради бога!—взмолилась мама.—Ведь Казимир уезжает, ты знаешь это,—обратилась она к папе.—Бог весть, увидимся ли мы с ним! Не надо расставаться врагами,—прибавила она умоляющим голосом.

— Я не враг ему, — сказал папа и голос его слегка дрогнул.—Я жалею его. Он поступает необдуманно, только и всего.

— На моем месте вы поступили бы точно так же,—возразил пан Казимир.—Я в этом уверен, зная вас.

Папа ничего не ответил и переменил разговор. Меня не интересовало то, о чем они говорили и я больше не слушала. Прощаясь, Казимир вдруг сказал маме:

— Я так жалею, что дядя (настоятель) не мог благословить меня... не успел. Он умер. Но скажите, вы благословляете меня?

— Да, — тихо ответила мама.

Не знаю почему, но мне вдруг стало ужасно жалко Казимира. Я не верила его словам, что он скоро вернется и чувствовала, что тут кроется что-то серьезное. Я подстерегла его в передней, когда он уходил, бросилась к нему на шею и заплакала. Он удивился и стал меня утешать.

— Я хочу дать ему образок, благословение настоятеля,—сказала я сквозь слезы маме, которая провожала его.—Можно?

— Дай,—отвечала мама.

Я тотчас же сняла с шеи образок на тонкой золотой цепочке и всунула его в руку Казимира. Он горячо поцеловал меня, обнял маму и торопливо вышел на крыльцо. Больше мне не суждено было увидеться с ним. Вместе со многими другими он был повешен в Вильно Муравьевым.

Вскоре после отъезда Казимира папа принес известие, что арестована и отправлена в Киев графиня Р. У нее в поместье был найден склад оружия и там же формировались польские банды. Количество арестованных все увеличивалось. Мама никуда не выезжала и у нас очень редко бывали гости. Точно какая-то туча повисла над нашим домом и оттуда слышались громовые раскаты.

Наступил страшный 1863-й год. Я называю его „страшным" потому, что в самом начале он ознаменовался кровопролитными столкновениями между поляками и русскими. Нельзя было помешать говорить об этом, так как

дворня у нас была преимущественно поляки. Сын нашей прачки, старой Юзефовны, еще в прошлом году убежал „в лес", как говорили тогда, и записался в какой-то польский отряд. В стычке он был ранен и попал в плен. Говорили, что он будет казнен. На меня все эти разговоры и слезы старухи Юзефовны сильно действовали. Мне еще не было девяти лет тогда и я не могла понять, из-за чего проливалась кровь, но, вспоминая, как в раннем детстве я упрямилась, не желая молиться по-русски и папа меня наказывал за это, я решила, что все происходило из-за того, что поляки тоже не хотят молиться по-русски. Раз как-то я решилась заговорить об этом с мамой.

— Мамочка,—обратилась я к ней с вопросом,—почему полякам не позволяют молиться, как они хотят?

Мама с удивлением посмотрела на меня и спросила:

— Кто тебе это сказал?

— Никто не говорил, но я так думаю,—отвечала я.— Ведь вот меня папа заставил молиться по-русски. Я долго сердилась на папу за это. Помнишь, мама?

— Помню, детка. Но ведь наш папа русский и ему было бы неприятно, если бы его старшая дочка была полька. Разве ты папу не любишь?

— Нет, люблю теперь, очень! — воскликнула я с жаром. — А ты, мама, ведь ты полька?

— Нет, я русская,—ответила она дрожащим голосом.— Папа русский и мы все должны быть русскими. Ты этого не понимаешь, потому что ты маленькая, но ты поймешь, когда вырастешь.

— Оттого ты и не ходишь теперь со мною в костел, как раньше?—сказала я.—Папа этого не хочет?

Вдруг мама закрыла лицо руками и слезы хлынули у нее из глаз. Я бросилась ее целовать и своим платочком вытирала у нее слезы.

— Не мучь меня, детка,—прошептала она.—Не говори со мной никогда об этом...

Конечно, я больше никогда не заговаривала об этом, но тем больше думала обо всем, что происходило кругом. Несмотря на строгий надзор англичанки, я находила возможность улизнуть от нее и убегала в лес, пряталась и слушала разговоры лесника или старой Юзефовны. Туда приходили и другие женщины польки и все они жаловались и плакали. Тогда я впервые услыхала слова: „Ржанд, народовый“. Мне объяснили мои приятели поляки, лесник и кучер, что так называется польское правительство, которому все поляки должны повиноваться.

— Должно быть это правительство требует, чтобы поляки не уступали русским и продолжали молиться по-польски, — решила я про себя, но больше ни к кому не приставала с вопросами.

Однажды, гуляя летом с гувернанткой, я увидала по дороге, около леса, как небольшой отряд солдат вел несколько пленных поляков. За ними бежали плачущие бабы и девчонки. Одну из них я хорошо знала. Она приходила к нам во двор и мы играли с ней.

— Приходи, Павлинка! — только успела я крикнуть, как гувернантка схватила меня за руку и потащила дальше.

— Я расскажу вашему отцу, как вы себя ведете,— строго сказала она.—Вы не должны разговаривать с бунтовщиками.

— Я не разговаривала,—протестовала я со слезами.— Я только позвала Павлинку. Она девочка, такая же, как я. Она не бунтовщица.

К моему счастью, папы не было дома и я избежала наказания или, по крайней мере, строгого выговора. Папа уехал в Киев. Он часто уезжал туда в последнее время и возвращался оттуда особенно хмурым и озабоченным. Он не шутил и не смеялся больше, как прежде, и мы не

решались приставать к нему. Мама почти не выходила из своей комнаты; она все прихварывала. Бабушка тоже сидела почти безвыходно на своей половине, где жила также няня Анета с мужем. Я бегала туда тайком, когда мне удавалось ускользнуть от гувернантки. Я хотела послушать, о чем там говорят. Но обе старухи большею частью молчали. Бабушка или раскладывала пасьянс, или вязала чулки, няня так же. Мне становилось скучно и я уходила. Только один раз я слышала, как няня глубоко вздохнула и проговорила тихо: „Бедное дитя!“— Ко мне ли это относилось или к их предшествующему разговору— я не знаю.

Павлинка все-таки прибежала к нам во двор и я увидела ее. Мы спрятались с нею в густом кустарнике на огороде и она рассказала мне:

— Тятьку нашего забрали. Он должен был итти в рекруты, а он не хотел воевать с поляками. Ведь он же сам поляк!.. Вот он и убежал в лес, к своим товарищам. Они хотят воевать с русскими... И вот солдаты их окружили... начали стрелять... и забрали всех... (Это она проговорила сквозь слезы).—Мамка плачет... говорит: их отправят в Сибирь или... повесят!..

При последнем слове она громко зарыдала. Я тоже заплакала и мы так сидели долго, обнявшись, и плакали.

Я вдруг вспомнила о Казимире. Наверное он тоже не захотел покориться русским и потому уехал. Что если и его забрали в плен и... его?.. Я не решалась даже мысленно произнести ужасное слово. Нет,—подумала я,— мой образок, благословение настоятеля, спасет его.

Но он не спас его...

Когда я узнала о его гибели, — это было уже в следующем году,—то впервые усумнилась в благости божьей. Бог злой и несправедливый, решила я. Я не хочу молиться ему ни по-русски, ни по-польски... И я упорно

молчала, когда мы, согласно установленному обычаю, должны были совместно молиться утром и вечером. Никакие уговоры, никакие наказания не помогали, и меня, наконец, оставили в покое.

Кончился страшный 63-й год. Он, как ураган, пронесся над нашим домом. Большинство наших старых слуг, к которым я привыкла, так же, как и большинство знакомых, бывавших у нас, исчезло. Появились какие-то новые люди, к которым я почему-то относилась враждебно. Никакие ласки не действовали на меня и во мне развилась строптивость, с которой трудно было совладать.

Но и следующий год не внес никаких перемен к лучшему, гнет, который я бессознательно чувствовала, остался прежний. Изменилось только общество, бывавшее у нас. Теперь это не были окрестные польские помещики, большинство которых исчезло неведомо куда. Их заменили военные, офицеры квартировавшего в нашей местности полка. Это были веселые молодые люди и у нас опять стали устраиваться, по желанию папы, танцовальные вечера, собиралась молодежь, пели и танцовали, а более пожилые, солидные гости играли в карты. Папа был всегда общительным человеком, теперь же у него было величайшее желание развеселить маму, заставить ее позабыть, прогнать тоску. И мама старалась казаться веселой и приветливой, как всегда, но у меня уже была сильно развита наблюдательность и я видела, что это стоило ей больших усилий. Да и папина веселость и разговорчивость были напускные. „Видно так надо", — сказала я себе и старалась об этом не думать.

Некоторые из офицеров, бывавших у нас, участвовали в подавлении польского восстания и их называли „усмирителями". Один из них, веселый, молодой подпоручик стал рассказывать, как они ловили в лесу польских бунтовщиков и вели их связанными в тюрьму.

— И вам было не жалко их убивать? — спросила я.

— Жалко?.. Бунтовщиков?.. — спросил он с удивлением.

— Ведь они... защищают свою „ойчизну" и свою веру, — возразила я.

— Ого, маленькая полька!.. — воскликнул он.

— Я не полька! — ответила я с жаром. — Я русская, такая же русская, как мама и папа. Но только... я жалею поляков, — прибавила я робко.

— Их жалеть нечего, милая девочка, — сказал он с ударением. — Они бунтуют против великой России. А если вы русская, то должны любить только Россию.

Я не нашлась, что ответить ему, но с этой минуты возненавидела его. Потом, спустя много лет, я снова встретилась с ним. Он был уже в чинах, награжден георгиевским крестом, участвовал и в русско-турецкой и в русско-японской войнах, был также ранен где-то, но остался таким же „усмирителем", как был, только теперь он усмирял не поляков, а русских бунтовщиков. Кажется, он был убит во время революции.

Возвращаюсь к своему рассказу.

В начале августа папа вдруг объявил, что он отвезет нас в Киев и отдаст в институт, меня и сестру Катю. Это было решенное дело. Сначала мы обе обрадовались перемене и тому, что у нас больше не будет страшно надоевшей нам англичанки. Но у меня как-то больно сжалось сердце при мысли, что придется расстаться с мамой, с няней Анетой, с бабушкой и с теми нашими людьми, к которым я привыкла и которых я любила.

Об институте я не имела никакого понятия, но когда я очутилась в его четырех стенах, то меня обуяла страшная тоска, и первое письмо, которое я написала домой, было подписано: „ваша несчастная дочь!“ Забавно, что меня, свободолюбивую девочку, несмотря на папину строгость, больше всего возмущало, что надо было все делать по звонку: вставать, одеваться, молиться, гулять, учиться и т. д. Впрочем, я скоро смирилась и привыкла к звонкам, поняв, что это нужно для сохранения порядка.

В течение первой зимы папа раза четыре навещал нас и один раз привез маму к величайшей моей радости. Мало-по-малу я привыкла к институтской жизни, перестала скучать и завела подруг. Среди нас было несколько полек, но они были точно пришибленные. Им было запрещено говорить по-польски в обычное время и это разрешалось только во время урока закона божия, для которого был приглашен ксендз. Впрочем, они посещали также католическое богослужение,—в институте была небольшая католическая церковь.

Я пробовала с ними говорить о том, что меня больше всего занимало, т.-е. о польском восстании, но они отмалчивались, — эти разговоры были строго запрещены и меня предупредили, что я могу быть наказана за это. Была среди этих девочек полек одна, которую я терпеть не могла. Она кичилась своим богатством и тем, что ее отец был генерал.

— Твой отец ведь поляк?—спросила я ее.

— Он был поляк, — отвечала она. — Но мать моя была русская. Он принял православие, — объявила она.

— А у меня отец русский, моряк, а мать полька и она не приняла православия.

— Это не делает ей чести,—заявила она и отвернулась от меня.

С тех пор мы стали избегать друг друга и почти никогда не разговаривали.

Была у нас еще молоденькая классная дама полька. Бедное, загнанное существо! У нее была больная мать, которую она содержала, и, конечно, страшно боялась лишиться куска хлеба. Поэтому она старалась, чтобы в институте никто не вспоминал об ее национальности и решалась молиться по-польски в своей комнате, плотно заперев дверь. Она даже не посещала католического богослужения, а ходила вместе с воспитанницами в русскую церковь.

В общем, я сроднилась с институтом и уже не рвалась так домой, как в первое время. Институтская жизнь, подруги и развлечения,—у нас устраивались даже спектакли и балы по большим праздникам, на которые приглашалась молодежь, преимущественно военная, — отвлекали меня от постоянных мыслей. Один раз, впрочем, несмотря на запрещение, у нас произошел тайком разговор, который произвел на меня неизгладимое впечатление.

Это было вскоре после подавления восстания в Польше. Одна из моих подруг, уже взрослая, дядя которой, военный, участвовал в подавлении мятежа, рассказала нам, что генерал-губернатор граф Муравьев, стремясь поскорее замирить край, не останавливался ни перед какими жестокими мерами, сжигал целые деревни и польские поселки и вешал, вешал без конца!..

— Дядя рассказывал, — говорила она, — что в конце одной длинной улицы были поставлены несколько виселиц и на них постоянно качались повешенные.

— А ты видела когда-нибудь повешенного?—спросила я дрожащим голосом.

— Видела один раз, случайно, в лесу повешенного на дереве,— ответила она.— О, какой он был страшный! Лицо совсем черное и язык высунут.

— Кто же это был, поляк или русский? — спросила одна из подруг.

— Конечно поляк... мятежник. Его повесили мужики. Они настигли нескольких человек в лесу. Другие убежали, отстреливаясь. А этот попался... ну, его и повесили.

Она рассказывала это удивительно равнодушным тоном, а я вся дрожала, слушая ее похвалы Муравьеву и его деятельности.

— По крайней мере теперь поляки присмирели и больше не решатся бунтовать против России, — заключила она свой рассказ.

А я всю ночь видела перед собой Казимира, раскачивающегося на виселице с моим образком на груди.

На утро я встала с распухшими от слез глазами и с сильной головной болью, так что классная дама отослала меня в лазарет.

На летние каникулы мы с сестрой были оставлены в институте, так как мама сильно заболела. У нее сделалось воспаление коленного сустава и ее пришлось везти в имение, где жил знаменитый хирург Пирогов, чтобы он наложил ей гипсовую повязку. (Он тогда первый в России ввел эти повязки). А когда я приехала на следующее лето в усадьбу, то нашла там большие перемены. Во-первых, меня ожидало большое горе: моя няня Анета умерла незадолго до моего возвращения. Умерла и старая Юзефовна и ушел мой приятель кучер. Остался только старик лесник доживать свой век. Наш садовник поляк, с которым я тоже была в дружбе, был убит в какой-то свалке с солдатами.

Мама поправилась, но колено у нее не сгибалось, и она всю жизнь потом ходила с костылем.

Но самая главная перемена заключалась в том, что наша усадьба была продана и мы должны были уехать в конце лета. Папа сказал, что мы поедем в Петербург. Это меня немного утешило, потому что Петербург—столица—меня очень интересовал. Но я горько плакала, когда уводили со двора наших лошадок. Особенно мне жалко было вороного, и я обнимала и целовала его в морду, прощаясь с ним. Так же нежно я простилась и с нашим дворовым псом Каштанкой. Из людей никого не было жаль, они все были чужие для меня. Из моих старых друзей почти никого не осталось.

Мы поехали в Киев, где пробыли несколько дней, и я воспользовалась этим, чтобы побывать в институте и проститься с подругами. Из Киева мы на почтовых поехали в Витебск, потому что железная дорога была еще не готова и только в Витебске сели на поезд, чтобы ехать в Петербург. Я никогда раньше не ездила по железным дорогам и вообще не видела железных дорог. Поэтому я с величайшим интересом ждала момента, когда мы, наконец, приедем на вокзал и сядем в поезд. Но самая поездка разочаровала меня. Я нашла ее гораздо менее интересной, чем путешествие на почтовых.

В Петербург мы приехали в пасмурный дождливый день в конце августа, и папа, устроив нас в гостинице, тотчас отправился на поиски квартиры. Бедная мама, вследствие своей болезни, не могла много двигаться и помогать ему и все домашние заботы лежали таким образом, на папе. Но он справлялся с ними молодцом и нам сказал, что моряк должен все уметь делать и выпутываться из всех затруднений.

Мы пробыли в гостинице только три дня. Папа нашел маленькую квартирку в четыре комнаты с кухней

на Пантелеймоновской улице, во дворе, и взял меня, как старшую, с собой, чтобы купить мебель и все нужное для обстановки. Я давно не видала папу таким бодрым и веселым, как тогда, когда мы ходили с ним по лавкам и выбирали разные необходимые вещи для нашего будущего скромного хозяйства. Он точно свалил со своей души огромную тяжесть, приехав в Петербург, и с оживлением говорил со мной, как с взрослой, о своих планах.

— Мне придется искать здесь какого-нибудь места,— сказал он.—Ты знаешь, у нас нет никакого капитала, и у меня остались только деньги, вырученные за продажу нашей усадьбы и обстановки. Поэтому мы должны жить экономно и беречь деньги.

Хотя мне было только тринадцать лет тогда, но я старалась быть серьезной и говорила папе, чтобы он не беспокоился. Мы будем очень экономны и ничего лишнего не будем тратить. Я даже удерживала папу от покупки более дорогих вещей, посуды и проч. для нашей квартиры, что его очень забавляло и он похвалил меня, как умную маленькую хозяйку. И вот мы переехали на квартиру, как только немного устроили ее с помощью нанятой папой прислуги, которую ему рекомендовали в гостинице, пожилой женщины, исполнявшей одновременно обязанности горничной и кухарки. Квартирка у нас была уютная, солнечная и мама осталась очень довольна своей маленькой комнаткой в одно окно, у которого было поставлено для нее хорошее покойное кресло. Но мне, признаюсь, было очень странно очутиться в таких маленьких комнатах после нашей просторной усадьбы, с галлереей, балконами и прекрасным садом.

Мы прожили в Петербурге только одну зиму. Папу снова потянуло к морю и, не найдя на суше ничего для себя подходящего, он снова поступил во флот

и был назначен начальником Астрабадской морской станции, на острове Ашур-адэ. Таким образом, мне суждено было опять вернуться на свою родину.

Зима, проведенная в Петербурге, не оставила во мне никаких особенно ярких воспоминаний. Я посещала консерваторию и музыкальные вечера. Но только один вечер остался у меня в памяти. Тогда профессором консерватории была знаменитая певица Виардо и она выступала в концерте. Голос у нее был замечательный, но наружность ее мне очень не понравилась.

— Некрасивая жидовка, не правда ли?—сказала мне подруга, ее ученица, сидевшая со мной в ложе.

— Да, некрасивая,—согласилась я.

— А ведь, говорят, в нее влюблен Тургенев, знаменитый писатель, ты знаешь?—прибавила моя подруга.

Тургенева я знала, потому что читала его „Записки Охотника". Подруга указала мне его высокую фигуру в зале и сказала, что он не пропускает ни одной оперы, в которой участвует Виардо, а также приходит в консерваторию и ждет ее у выхода в вестибюле.

— Что же он на ней не женится?—спросила я.

— Глупая!—ответила моя подруга, бывшая года на три старше меня.—Ведь у нее есть муж! Зачем ему жениться, можно и так...

Я замолчала сконфуженная, но долго потом наблюдала высокую фигуру Тургенева. Я очень хотела увидеть его когда-нибудь вместе с Виардо, но это мне так и не удалось. Я напрасно подкарауливала ее в вестибюле.



III

Мы выехали из Петербурга в первых числах мая, остановились на три дня в Москве, оттуда поехали в Нижний и затем продолжали уже свой путь на пароходе по Волге до Астрахани. Там были уже знакомые места. В Астрахани отца встретили многие из прежних сослуживцев моряков, поздравлявшие его с возвращением в Каспий. В числе них находился и прежний его помощник, его старший офицер, плававший с ним на шхуне „Волга". Я его очень хорошо помнила и мы встретились с ним, как старые знакомые и друзья. Он расспрашивал меня о моей жизни „на суше" и мне захотелось рассказать ему более подробно о нашей усадьбе, о польском восстании, но я постеснялась и сказала только, что я была в институте, а потом мы поехали в Петербург и я посещала там консерваторию, „видела Виардо и Тургенева", прибавила я с гордостью.

— Когда же вы все это успели? Сколько же вам лет?—спросил он.

— Четырнадцать,—важно ответила я.

— Ого, совсем взрослая девица!—засмеялся он.— А помните, как вы на маленькой лодочке чуть не потонули в Ленкоранских бурунах?

— Помню. Еще бы не помнить! Вы нас спасли тогда, выслав нам спасательную лодку. Я все отлично помню, всякие бури и нашу шхуну.

— Молодец!—похвалил он меня.—Вы были истинной дочерью моряка тогда, но я боюсь, что вы отвыкли от моря, и вас теперь будет укачивать.

— Ничуть!—вскричала я.—Хотите пари?

И мы пошли пари на десять фунтов конфект, т.-е. он должен был прислать мне на Ашур-адэ конфекты, а я обязалась, в случае проигрыша, вышить ему туфли.

Признаюсь, в душе я все-таки несколько трусила. А вдруг я и в самом деле отвыкла от моря, и меня укачает? Но я выдержала испытание с честью.

Морские пароходы не доходили до Астрахани, и мы должны были на буксирном судне доехать до „Девятифутового Рейда", находившегося в 90 верстах от города. Там уже дожидался пассажирский пароход, который должен был везти нас в Астрабадский залив.

Мы приехали поздно вечером и тотчас же пересели на пароход. Я с величайшим любопытством ждала нашего выхода в море. Наконец-то я увижу его, мое родное море! мысленно восклицала я. Но я так и не дождалась отхода парохода, потому что было уже поздно, а я устала, и мне хотелось спать, зато на другое утро, выйдя на палубу, я закричала от восторга при виде сверкающего в солнечных лучах широкого пространства воды чудного изумрудного цвета.

Плавание наше было очень удачным. Нас только немного покачало в северной части Каспийского моря, на уровне Петровска, а затем море все время было, как зеркало. Я этим путешествием наслаждалась самым искренним образом, постоянно ласкалась к отцу и шептала: „Ах, папа, папа, как хорошо, что ты опять вернулся в Каспий!"

Папа смеялся и говорил: „Ты моя морячка!..."

Море точно смыло все тяжелые впечатления, которые сохранились в моей душе после польского восстания, и я забыла о нем.

Мама тоже повеселела и поздоровела. Она увидала многих старых знакомых и вспомнила свои первые счастливые годы, которые она провела на море с любимым мужем.

Пароход пришел в Баку утром и отплыл на другой день в два часа ночи, так что мы два дня пробыли в городе и могли хорошо осмотреть его. С утра на пароход явилось несколько моряков, чтобы приветствовать папу и среди них были его прежние сослуживцы. Обедали мы у начальника экипажа, его старого товарища, а вечером всей компанией отправились в городской сад на набережной, где играла музыка. Этот сад я помнила с детства, но тогда это был маленький садик, который назывался „комендантским", потому что дом коменданта города выходил в него.

В те времена за комендантским садом уже почти не было строений и дорога из сада вела в пустынные окрестности, к так называемым Волчьим воротам, небольшому ущелью среди скал, действительно представляющему нечто в роде естественных ворот. Но почему они были названы Волчьими воротами—я не знаю, так как в окрестностях Баку не было ни лесов, ни даже кустарников и волки там не водились. Но с этим ущельем было связано много разных легенд и оно имело какой-то суровый, зловещий вид. Говорили, что там скрываются разбойники и ночью там небезопасно. Когда Баку еще не был оккупирован русскими, там происходили кровопролитные сражения и теперь жители уверяли, что там порой слышатся стоны и являются призраки. Я очень хорошо помню, что в детстве слышала эти рассказы от наших матросов, и поэтому Волчьи ворота внушали мне какой-то неопределенный суеверный страх, который долго не исчезал.

Дальнейшее наше плавание по Каспийскому морю было для меня настоящим праздником. Погода была прекрасная и я целые дни проводила на палубе, много разговаривала с капитаном, пожилым моряком, плававшим по разным морям и только недавно устроившимся в Каспии, как он сказал мне, „на покой".

— Здесь плавание—игрушка,—сказал он мне.—Разве это настоящее море?..

Я возмутилась и горячо заступилась за Каспийское море.

— Ого, какая вы патриотка!—говорил он, смеясь.

Но бедному капитану пришлось-таки испытать на себе гнев Каспийского моря. Через два года после нашего плавания с ним, он был назначен командиром другого судна и потерпел крушение в северной части Каспия, во время страшной бури, при чем утонуло 18 человек. Он едва спасся на каком-то обломке и полумертвый был подобран рыбачьей лодкой.

Пароход наш останавливался во всех портах на пути, вследствие благоприятной погоды, но стоял недолго, только, чтобы принять пассажиров и почту. Однако, только через неделю по отплытии из Астрахани, мы прибыли в Астрабадский залив. Признаюсь, меня разбирало нетерпение, мне так хотелось поскорее увидеть Ашур-адэ. Наконец, пароход миновал пловучий маяк у входа в залив и показался остров, плавающий, точно корзина зелени и цветов, на поверхности воды.

Пароход остановился посредине рейда, и тотчас же с разных сторон к нему направились шлюпки, в которых сидели морские офицеры и дамы, и скоро на палубе собралось много публики. Тут были командиры разных военных судов, в мундирах, приехавшие, чтобы представиться своему новому начальнику. И опять таки тут было много старых знакомых папы, его прежних сослуживцев. Было очень шумно и весело.

Я стояла на рубке, наверху и не могла оторвать глаз от оживленной картины морского рейда. Вдали виднелся персидский берег, на котором можно было различить несколько домиков полуевропейской, полуазиатской постройки. Мне сказали, что там была русская фактория и торговое агентство. На заднем же плане этой картины виднелись горы, поросшие густым лесом и красиво освещенные заходящим солнцем.

Ко мне подошел капитан.

— Взгляните на Демавенд,—сказал он, указывая на юго-запад.—Это потухший вулкан. Он имеет форму сахарной головы и покрыт вечными снегами. Посмотрите, как он сверкает на солнце!

Действительно, эта необыкновенно красивая гора резко выделялась своей белизной среди окружающих ее оттенков синего и зеленого цвета. Я бы еще долго любовалась этой картиной, но меня позвали снизу и я увидала стоящий у трапа нарядный десятивесельный катер, который должен был везти нас на берег. Это был катер, предназначенный для начальника станции, на котором развевался его флаг и десять матросов с унтер-офицером и рулевым во главе составляли его экипаж.

Мы сели в катер и поехали к пристани.

Остров Ашур-адэ образовался из наносного песка и на этом зыбучем песчаном основании люди устроили свои жилища и развели растительность, которая после многих лет труда достигла почти тропической роскоши. Остров состоит из песка и ракушек, поэтому, чтобы посадить растения, надо было сперва привезти землю с персидского берега, повысить почву, чтобы ее не заливало водой и тогда уже сажать деревья и ухаживать за ними. Деревья эти постепенно укрепляли свои

корни и роскошно разрастались под благодатным солнцем юга.

Весь островок, имеющий не более трех верст в окружности, представлял почти сплошной сад, состоящий преимущественно из эвкалиптов, померанцовых, фиговых и гранатовых деревьев. Была также пара финиковых пальм и несколько великолепных олеандров. Вся эта растительность сосредоточивалась, главным образом, в более возвышенной части острова, где находился дом начальника станции, церковь, клуб и библиотека. Большинство офицерских домиков, стоящих по сторонам каменной дороги, ведущей почти через весь остров от небольшой деревянной пристани к дому начальника, также были обсажены деревьями. Дорога эта была сделана для того, чтобы не надо было итти от пристани по очень глубокому песку, но она была настолько узка, что по ней могло итти рядом только три человека. В маленьких домиках с высокими камышевыми крышами, окруженных широкими галлереями, жили семьи морских офицеров. Некоторые из домиков были построены из камыша и только обмазаны штукатуркой. Каменная дорога представляла главную улицу поселка, а за ней отделенная маленьким озерцом соленой воды, вследствие понижения почвы в этом месте, находилась матросская слобода, которой дано было своеобразное название „Теребиловка".

Я уже говорила, что этот остров был моей родиной, и в раннем детстве я часто бывала на Ашур-адэ, но, конечно, я не замечала тогда всего, что теперь бросалось мне в глаза. Тогда я видела только прекрасный берег, усыпанный ракушками, которые так славно шуршали под нашими босыми ножками, и ласковое, теплое море, тихо приливающее к нам и окатывающее нас порой с ног до головы. Ах, как было хорошо тогда!..

Теперь, идя со всеми по каменной дорожке к нашему дому, я с удивлением осматривалась кругом. Как было странно все! Со мной заговаривали, но я отвечала невпопад, занятая своими мыслями.

Мы подошли к довольно большому одноэтажному дому, к которому вела густая аллея из эвкалиптов. Дом был окружен с четырех сторон широкой верандой и обставлен довольно комфортабельно. Перед нашим отъездом из Петербурга отца посетил бывший начальник, князь У., которого папа заменил теперь. Он предложил папе купить всю обстановку дома, говоря, что это будет стоить дешевле и папе не надо будет возиться с покупкой и доставкой мебели и всего, что нужно для дома, из Астрахани, так как ближе ничего достать нельзя. Папа, разумеется, согласился, и мы поэтому нашли уже готовый дом для нас и почти все необходимое для немедленного устройства в нем своей жизни.

Первую ночь мы с сестрой спали на веранде, где для нас были разостланы тюфяки, так как в комнатах было слишком жарко и душно. Я долго не могла заснуть. Как странно, что мне, выросшей на море, мешал спать шум прибоя, и главное — крик часовых: „Слушай!“ расставленных вокруг всего острова. Я узнала на другой день, что часовые расставлялись кругом острова каждую ночь, и начальник давал новый пароль каждый день. Эта мера военной предосторожности была принята после того, как смелые туркменские пираты произвели в ночь на пасху, когда все были в церкви у заутрени, нападение на остров, с целью убить начальника станции, который очень мешал и досаждал им. Они убили двух матросов, но начальника не нашли и уплыли на своих бесшумно скользящих „кулазах“ — плоскодонных челноках, выдолбленных из древесного ствола.

С тех пор остров окружали на ночь часовыми, и эта мера сохранялась вплоть до окончательного покорения

Туркмении. Ни одна лодка не могла приблизиться к берегу или появиться ночью в заливе, где стояли суда, без того, чтобы не послышался окрик часового: „Кто гребет?“

Итак, я не могла заснуть. Слишком много скопилось ярких впечатлений у меня и я не успела в них разобраться. Я думала о том, как много перемен произошло в моей жизни, хотя я еще прожила так мало. Жизнь у дедушки, его смерть, мое первое знакомство с отцом и его строгость, моя детская борьба за веру и подчинение его воле, кроткая, добрая мама и, наконец, море, чудное море, заставившее меня позабыть все прежнее! Жизнь на корабле, бури, опасности и мое превращение в истинную дочь моряка, любовь к отцу и преклонение перед ним!.. А затем, как в калейдоскопе, ряд новых картин: жизнь в усадьбе, польское восстание, болезнь мамы, отъезд в Петербург, новая обстановка и, наконец, снова возвращение на свое родное море. Я чувствовала, как сильно бьется мое сердце, когда я обо всем этом думала и мне казалось, что я уже не девочка, а взрослая женщина, много, много испытавшая...

— Вставай, вставай, ленивица! — услышала я веселый голос мамы, пришедшей будить меня, когда я крепко заснула уже под утро. — Бери купальную простыню и беги купаться в море, Катя уже побежала.

— Куда итти? — спросила я, жмурясь от яркого солнца.

Мама указала мне рукой на небольшой садик, весь усыпанный цветами, куда вели ступеньки с широкой веранды. — Беги через калитку к морю. Там ты найдешь Катю и других, а я пока займусь чаем. Сейчас, вероятно, придет папа.

Бедная мама, из-за своей больной ноги, не решалась купаться в холодной морской воде.

— А где папа? — спросила я, накидывая на себя простыню и приготовляясь сбежать со ступенек.

— У него уже начался прием служащих, но он прислал мне сказать, что скоро придет, — отвечала мама.

Да, я была счастлива в этот день! Кажется, никогда в жизни потом я не испытывала такого полного безмятежного счастья. Я видела, что и моя мамочка была счастлива; все тяжелое, мучительное потонуло на дне морском...

Жизнь на острове была очень своеобразная. Общество состояло исключительно из моряков и лишь случайно к нам попадали какие-нибудь иностранцы-путешественники. Так попал к нам знаменитый Генри Стэнли (впрочем, он еще не был знаменит тогда), и я расскажу о своей встрече с ним.

Это было в Баку, в конце 1869 года, в том самом году, в котором мы приехали в Каспий. Мы уже прожили лето на Ашур-адэ и я испытала и видела много интересного. Папа зачастую брал меня с собою, когда ему приходилось объезжать порты Каспийского моря. Я побывала с ним в Красноводске, на восточном берегу моря, лежащем среди пустынной, безводной местности, лишенной всякой растительности.

В этом году как раз часть кавказских войск высадилась там и основала укрепление для противодействия набегам разбойничьих туркменских племен. Папа поехал в Красноводск, чтобы притти к соглашению с начальником этих войск, полковником С., относительно разных мероприятий, имевших в виду туркмен. Из Красноводска мы приехали в Баку и на другой день вечером должны были отправляться дальше к югу, во-свояси.

Пароход уже разводил пары, готовясь к отплытию, когда я поднялась из своей каюты наверх и увидала отца, который разговаривал с каким-то молодым человеком, повидимому, новым пассажиром, приехавшим на пароход только перед его отходом. Я была удивлена, услышав, что папа разговаривает с ним по-английски. Он плохо знал этот язык и объясняться на нем ему было трудно, поэтому он очень обрадовался, увидев меня.

— Вот моя дочь, — сказал он молодому человеку. — Она будет служить нам переводчицей. Эмили, — обратился он ко мне, — это мистер Стэнли, корреспондент большой нью-иоркской газеты. Он едет в Персию и вместе с нами доедет на этом пароходе до Энзели́, а оттуда уже отправится сухим путем дальше.

Стэнли тотчас же протянул мне руку и любезно ответил, что он очень счастлив иметь такую переводчицу. Я была очень смущена, потому что мне в первый раз в жизни приходилось исполнять такую трудную роль, но простое и милое обращение Стэнли быстро уничтожило всякое стеснение между нами, так что, когда раздался звонок, призывавший к ужину, то мы уже болтали с ним, как старые знакомые.

Из его разговора с моим отцом, в котором я невольно принимала участие, как переводчица, я узнала, что Стэнли ехал из Египта, куда он был послан издателем нью-иоркской газеты, чтобы присутствовать на торжестве открытия Суэцкого канала. Я с большим интересом слушала его рассказ об этом. Он так живо описывал все: природу и людей, туземцев и европейцев, египетских сановников, блестящую свиту французского императора и разношерстную толпу, собравшуюся на это торжество, что мне казалось временами, будто я собственными глазами вижу всю эту пеструю картину. Потом Стэнли объяснил мне,

какое важное значение имеет постройка этого канала и какие великие трудности надо было преодолеть при этом.

Заметив, какое сильное впечатление произвел на меня его рассказ, он шутливо обратился ко мне с приглашением непременно приехать в Америку, обещая показать мне там много удивительных вещей.

Он рассказал мне, что из Египта поехал в Константинополь, а оттуда, через Черное море, в Закавказье. Таким образом он очутился в Баку. О Закавказье он отзывался с восторгом, говоря, что это „край непочатых богатств“ и выражал при этом сожаление, что у него не было времени хорошенько исследовать его. Но он должен прежде всего выполнить свою задачу (он не сказал нам — какую); и маршрут у него уже намечен. Он проедет через Персию в Индию, в Бомбей, а оттуда на пароходе в Занзибар.

Когда отец спросил его, зачем он избрал такой кружный путь, он ответил, что по пути в Африку хотел повидать Персию и Индию и затем уже выполнить поручение, которое было на него возложено. Об этом поручении он, однако, умалчивал, и отец, конечно, не расспрашивал его.

Ночью, когда наш пароход вышел в открытое море, началась буря, и пароход сильно качало. Я вышла на палубу, закутанная в непромокаемый плащ и, облокотившись на борт парохода, смотрела на огромные волны, окаймленные белой бахромой пены. Стэнли, увидев меня, тотчас же подошел ко мне.

— Как хорошо, что вы не боитесь бури и не страдаете морской болезнью, — сказал он мне. — Моя маленькая леди, вы любите море?

— Очень, — отвечала я и прибавила со вздохом: — Я бы так хотела быть моряком. К сожалению, я родилась девочкой.

Стэнли улыбнулся.

— Не всегда удается быть тем, чем хочешь, — задумчиво проговорил он.

— Но вы-то сделались тем, чем хотели, — возразила я. — Вы говорили мне, что еще мальчиком вы мечтали о путешествиях, о приключениях и вот теперь вы разъезжаете по разным странам. Сколько интересного вы уже видели!

— Да. Но я все же часто еду не туда, куда хочу и не с той целью, с какой мне хочется. Большею частью мне приходится отправляться туда, куда меня посылают. А раньше я ведь тоже хотел быть моряком!

— Отчего же вы не сделались им? — спросила я.

— Я пробовал ремесло моряка. Я плавал юнгой на корабле из Англии в Америку. Это было не очень приятное путешествие. Моя милая маленькая леди, мне многое пришлось испытать в жизни. Я даже был солдатом на войне.

— Неужели? — воскликнула я.

— Да. Это было самое ужасное, тяжелое время для меня и я видел столько ужасов, что навсегда получил отвращение к войне. Северные штаты тогда воевали с южными штатами. Южане меня завербовали в солдаты и во время одного сражения я попал в плен. Там я узнал, что северяне ведут войну за уничтожение рабства и поэтому перешел на службу к ним, хотя я раньше числился в войсках южан. Но когда война окончилась, я все же не остался на военной службе. Необходимость зарабатывать кусок хлеба, однако, заставила меня сделаться военным корреспондентом газет и меня постоянно посылали в разные места, где происходили военные

столкновения. Я никогда не оставался долго на одном месте.

— Мне кажется, такая жизнь должна быть очень интересна, — заметила я.

— Ах, милая маленькая леди, не так это интересно, как кажется вам. Я всегда мечтал о путешествиях, о приключениях, но о путешествии в малоизвестные или совсем неисследованные страны, мечтал об исследованиях и открытиях. До сих пор же мне не удавалось выполнить свое заветное желание. Меня посылали в страны давно известные, и цель и маршрут были мне заранее намечены.

— А теперь? — спросила я с свойственным моему возрасту любопытством.

— Теперь... теперь... — повторил он задумчиво. — Теперь передо мной великая цель и я должен совершить большое путешествие. Если я достигну ее, то вы узнаете об этом, моя маленькая леди. Вы получите от меня весточку.

Буря не прекращалась и на палубе уже больше нельзя было оставаться, ее постоянно захлестывало волнами. Мы сошли вниз и уселись в кают-компании. Стэнли предложил мне сыграть с ним в карты и хотел научить меня какой-то американской игре, название которой я забыла. Но я оказалась очень неспособной ученицей и вместо этого предложила научить его нашей русской игре в дурачки.

Нам было очень весело и мы много смеялись. Он все время проигрывал и даже пожаловался на это моему отцу.

— Маленькая леди постоянно оставляет меня „в дураках". Это еще не удавалось никому, — говорил он, смеясь.

На другой день пароход должен был притти в Энзели, но Энзелийский рейд тогда был неустроен и совершенно открыт волнам, так что в бурную погоду там нельзя

было съезжать на берег из-за страшных бурунов. Пароход остановился далеко в виду Энзели и лишь на короткое время. Убедившись, что ни одна лодка с пассажирами и грузом не может отважиться выехать в открытое море, капитан парохода дал сигнал к отправлению и пароход отплыл дальше на юг, в Астрабадский залив, к острову Ашур-адэ. Стэнли волей-неволей остался с нами, чему я была очень рада.

Папа предложил Стэнли остановиться у нас и подождать отплытия парохода, который через четыре дня должен был отправиться к северу и по дороге снова зайти в Энзели. Я провела эти дни в обществе будущего великого путешественника, так как в качестве переводчицы я всюду сопровождала его. Это звание казалось мне самым почетным в то время и я очень гордилась им...

Прошло три года и вот, однажды, пароход, доставлявший нам на остров почту, привез мне пакет, пересланный из Лондона. Это было описание путешествия Стэнли в Центральную Африку. Стэнли не забыл свою юную переводчицу и в доказательство прислал мне эту книгу. Цель его была достигнута и он уведомлял меня об этом, уверенный, что я не забыла его и его обещания, несмотря на истекшие годы.

Теперь, когда прошло так много лет, я хочу, в своих воспоминаниях, прибавить, что это кратковременное знакомство с Стэнли оставило во мне навсегда самое приятное и неизгладимое впечатление.

IV

Жизнь на острове носила оживленный характер, несмотря на сильную жару летом. Она замирала только в самые знойные часы днем, но к закату солнца, когда жар спадал и с моря задувал легкий ветерок, все оживало. В заливе появлялись лодочки с катающимися, на судах раздавалось матросское пение, на верандах, окружавших офицерские домики, слышались веселые разговоры и на каменной дорожке появлялись гуляющие. Особенно большое оживление замечалось в те дни, когда приходил почтовый пароход. Летом пароход приходил раз в неделю и его приход был настоящим праздником для наших островитян. Он привозил почту, журналы, газеты, массу всяких вестей, хороших или дурных, из другого, европейского мира. Пароход приходил под вечер и когда к начальнику являлись с докладом со сторожевой вышки, что пароход перешел пловучий маяк, то волнение сразу охватывало всех жителей. Все спешили на пристань и не успевал пароход бросить якорь, как уже к нему со всех сторон подплывали шлюпки. Большею частью в этот вечер на пароходе устраивался веселый ужин, так как эти пассажирские пароходы славились своими буфетами.

Я не раз слышала разговоры о том, что только эти пароходы вносили разнообразие в жизнь островитян. Меня это удивляло в первые годы моего пребывания на острове. В самом деле, мне казалась такой интересной и богатой впечатлениями жизнь на Ашур-адэ и только впоследствии я стала понимать томление, которое ощущали

некоторые, и тогда часто, глядя на волны, омывавшие остров, я с тоской думала о том, что никуда, никуда не уйдешь из этой водяной тюрьмы!.. Но пока это время не наступило, я наслаждалась этой своеобразной жизнью со всем пылом юности.

Зимой, когда наступало бурное время, почтовые пароходы приходили на остров раз в две или три недели. При нашем морском клубе была недурная библиотека и в чтении недостатка не было. Она помещалась в хорошеньком, восьмиугольном павильоне, тоже обнесенном верандой, в саду. Туда привозились все полученные новые журналы и газеты и многие чудаки всегда читали там газеты, начиная с первого номера по порядку, иногда за целый месяц и делились устаревшими новостями, горячились и спорили по поводу событий, которые давно уже прошли.

Я помню такие споры по поводу разных событий франко-прусской войны, осады Парижа, коммуны и т. д. Все эти события уже были разрешены так или иначе, когда на нашем благословенном острове получались о них известия, вызывавшие порой весьма бурные прения.

В клубе устраивались литературно-музыкальные вечера, спектакли и танцы под гармонику. При клубе находился музыкант, матрос Федор, прекрасный гармонист. Для него была выписана великолепная гармоника и он получал жалованье от клуба.

Какие это были незатейливые, веселые вечера! Молодежь танцовала, а более солидные люди играли в карты или в шахматы. Впрочем, картежная игра, даже азартная, была в большом ходу на острове, в особенности зимой, когда жизнь замирала и почта приходила редко. Осенью же устраивались экскурсии на Персидский берег, в горы,

в городок Ашреф, где находились очень живописные четырехсотлетние развалины дворца шаха Аббаса великого, или же в Астрабад, в гости к русскому консулу. Там я увидала в первый раз персидское религиозное представление, род мистерии, называемое Тазие, изображающее трагическую историю Гуссейна, второго сына халифа Али и дочери Магомета, Фатьмы.

Представление происходило на открытой сцене, посредине обширного двора в доме губернатора. Необычная обстановка, игра актеров и толпа зрителей, пришедших в очень сильное возбужденное состояние, — все это произвело на меня большое впечатление. Тазие устраивалось во время мусульманского праздника Байрама, в начале октября и в это время народ бывал особенно фанатично настроен. Консул сказал нам, что показываться в это время в городе без вооруженной стражи не рекомендуется.

Все окружающее меня страшно занимало, так же, как и уклад жизни в консульском дворце, представлявшем нечто в роде крепости, жизнь там была устроена на английский манер, с переодеваниями к обеду и т. п. церемониями. Долгое время я бы не выдержала такой жизни, но на короткое время она мне понравилась, тем более, что нас собралась в Астрабаде большая компания „аширцев“ — так называли нас, жителей Ашур-адэ.

А как хороши были вечера, когда спадал дневной жар! И теперь, спустя не один десяток лет, я не могу вспомнить их без замирания сердца. Впоследствии я посетила очень много живописных мест, любовалась волшебными вечерами на Средиземном и Адриатическом морях, в океане и в Черном море, но всегда при этом я вспоминала Ашур-адэ, небо, усеянное звездами, как бриллиантами, переливающими разноцветными огнями и отражающимися в спокойной поверхности залива, с полукругом синеющих

гор вдали и белой вершиной Демавенда. Тогда мне казалось, что лучше этого местечка ничего не может быть.

Я не подозревала в то время, что то были последние годы славной жизни острова и вскоре должны были произойти события, которые совершенно лишили его значения, а страшное наводнение и буря уничтожили всякий след прежней культурной жизни. Море поглотило бо́льшую и лучшую часть острова и от него остался лишь небольшой кусок.

Но в то время, о котором я вспоминаю здесь, Ашур-адэ находился в зените своей славы и когда зашла речь о том, что морское ведомство проектирует перенести Астрабадскую станцию в Красноводск, где строилась железная дорога, то аширцы заволновались. Впрочем, в центре этот вопрос был оставлен открытым до посещения портов Каспийского моря в. к. Константином Николаевичем, который был генерал-адмиралом и поэтому должен был самолично решить вопрос о перенесении станции.

На Ашур-адэ все волновались в ожидании приезда великого князя, решающего участь острова. Великий князь приехал из Баку в Красноводск и оттуда на пароходе общества „Кавказ и Меркурий“ прямо приехал на Ашур-адэ.

Это посещение имело очень важные результаты для острова. Великий князь и его свита, очевидно, не ожидали увидеть такой прелестный, цветущий островок, составлявший в особенности разительный контраст с пустынным, безводным и лишенным всякой растительности Красноводском. Осмотрев остров, позавтракав в доме начальника станции, т.-е. моего отца, он посетил вечером клуб и очень смеялся над тем, что мы танцуем под гар-

монику. А наш музыкант Федор был, конечно, наверху блаженства, что ему пришлось играть перед столь высокопоставленным лицом. Но зато участь Ашур-адэ была решена: великий князь обещал, что станция останется на месте и не будет переведена в Красноводск.

На другой день великий князь поехал, на этот раз уже на военном судне, на Персидский берег, где находилась русская фактория и персидская деревня Гязь. Там устроена была ему парадная встреча и завтрак в персидском вкусе. Разбиты были великолепные палатки и встретить великого князя выехал астрабадский губернатор, дядя шаха. Несколько дам, жен командиров, мама и мы с сестрой тоже были приглашены на этот завтрак. Все были необыкновенно веселы. Старик губернатор, весьма важный перс, сказал по-персидски цветистую речь, которую перевел сопровождавший его драгоман. Великий князь тоже сказал несколько слов, которые перевел на персидский язык присутствовавший тут же секретарь астрабадского консула. Мы ели персидский плов с различными приправами, персидские лакомства, засахаренные фрукты и орехи и запивали это шербетом. Потом подали кофе в прелестных маленьких чашечках и кальяны.

Финал этого завтрака вышел совершенно неожиданный. К палатке подъехал верховой, у которого к седлу был подвязан большой мешок. Он слез с седла и остановился у входа, сказав что-то губернатору и тот сделал ему знак рукой. Тогда, о ужас! — он раскрыл мешок и из него выкатились на землю, точно арбузы, три отрубленные, окровавленные человеческие головы. Великий князь страшно побледнел, но остался сидеть на месте, как и остальные мужчины и моя мать, которая закрыла только лицо руками. Мы же с сестрой, дрожа, прижались друг к другу. Дамы взвизгнули и две из них даже сочли нужным упасть в обморок.

Дело объяснилось следующим образом: за несколько дней до этого персам удалось изловить трех туркменских разбойников. Персидские власти были в восторге, подобная удача не так часто выпадала им на долю, так как туркмены, свободный кочевой народ, были гораздо храбрее персов, совершали смелые набеги на персидские берега, грабили персидские суда и уводили в плен персов. Персы их очень боялись.

Пойманные разбойники были закованы в цепи, посажены в яму и ждали своей участи. И вот губернатор решил казнить их в честь приезда великого князя и повергнуть эти отрубленные головы к стопам знатного гостя.

Конечно, он рассчитывал произвести этим другое впечатление на присутствующих, доказать им свою власть и могущество. Туркменские разбойники ведь ничего другого не заслуживают, их надо казнить. Он сказал по этому поводу несколько слов при прощании с великим князем и очень любезно улыбнулся дамам, сказав, что жалеет, что напугал их. Но эти мертвые окровавленные головы еще долго мерещились мне потом.

Вечер мы провели на пароходе в гостях у великого князя и старались позабыть неприятный сюрприз на завтраке у губернатора. А в два часа ночи пароход снялся с якоря и петербургские гости распростились с нами.

Новое оживление на острове началось с организацией хивинского похода. Папу вызывали в Тифлис для переговоров и он там познакомился с полковником М., который был назначен командовать отрядом, отправляющимся с туркменского берега. Папа должен был оказать ему содействие в приобретении необходимого числа верблюдов и проводников, так как пользовался большим влиянием среди туркмен. Многие старики, почетные ду-

ховные лица, старшины племени, помнили его еще молодым офицером и очень дружески относились к нему. Они приезжали к нему на Ашур-адэ и папа дарил им отрезы сукна на халаты и вел с ними переговоры через переводчика. Ему удалось даже добиться освобождения двух русских матросов, пробывших целый год в плену у туркмен.

Когда затевался хивинский поход, то у папы было множество хлопот и забот. Ашур-адэ наводнили военные. Часть войска, принадлежащего к красноводскому отряду, высадилась в Чикишляре, в заливе Гассан-Кули, поблизости аула того же имени. От Ашур-адэ это было очень близко, поэтому начальник отряда поселился с семьей на острове, а офицеры, которым, конечно, не улыбалось жить в палатке на пустынном туркменском берегу, подолгу гостили на Ашур-адэ, увольняемые как бы в отпуск. К нам препровожден был также и полковой оркестр музыки, к большому удовольствию жителей и к великому огорчению нашего музыканта Федора.

Все это продолжалось, пока длился период организации похода. Молодые пехотные офицеры внесли большое оживление в жизнь острова. Пикники, устраиваемые на судах, катания на лодках, танцовальные вечера, спектакли и т. п. развлечения сменяли одно другое. Молодежь, которой предстоял тяжелый и трудный поход в пустыне с неизвестным исходом, как будто торопилась насладиться жизнью.

Но это время всеобщего оживления совпало у меня как раз со временем наибольшего духовного томления. Аширская жизнь стала казаться мне однообразной и неинтересной и я уже не находила в ней никакой пищи для ума и сердца. Танцы, карты и разные морские прогулки— все это надоело мне до смерти. Одна только музыка и литературно-музыкальные вечера, которые мы устраивали, нравились мне и я с увлечением занималась ими.

Я с любопытством присматривалась к новому элементу, появившемуся на Ашур-адэ, к пехотным офицерам. Своих моряков я хорошо знала. Среди них можно было найти даже весьма развитых и начитанных людей. Но пехотинцы разочаровали меня в этом отношении и я скоро убедилась, что никакой свежей струи они не внесут к нам. Это была славная, честная молодежь, очень патриотически настроенная, проникнутая верноподданническими чувствами, но большею частью недостаточно развитая. Наши моряки в этом отношении стояли выше.

Наезжали к нам также и представители золотой молодежи из Петербурга, разные блестящие адъютанты и в том числе будущий знаменитый герой Скобелев, который еще не был тогда генералом. Все эти господа приезжали из Петербурга с разными поручениями, касающимися организации предстоящего похода в Хиву.

Но из всех из них мне меньше всех понравился Скобелев, хотя почти все кругом восхищались его красивой, величественной наружностью, в особенности военные. Мне, однако, казалось, что он свысока смотрит на всех. Не могу судить, так ли это было на самом деле, потому что у меня сразу возникло предубеждение против него, когда один из его сослуживцев и товарищей, преклонявшийся перед ним и его военными талантами, с восхищением рассказывал о его подвигах во время подавления польского восстания и преследования польских банд. У меня не было ни малейшего желания даже разговаривать с ним и я была нарочито нелюбезна, когда он обедал у нас, так что даже мама сделала мне замечание.

— Мама, он убивал твоих собратьев!—сказала я ей.— Мне противно касаться его рук.

— Что ты говоришь... что?—с ужасом проговорила она.

— Ну, да, мне рассказал Н., Скобелев отличился в польском восстании, ловил польские банды, убивал и

брал в плен. А Муравьев вешал... Может быть наш Казимир попал ему в руки, а оттуда на виселицу... Подумай, мама!..

Бедная мама страшно побледнела и задрожала, но ничего не сказала. Я видела потом, каких трудов ей стоило быть любезной с этим героем и жестоко бранила себя в душе за то, что разбередила старую рану.

Насколько Скобелев, как мне казалось, с некоторым оттенком пренебрежения относился к другим офицерам, настолько он был любезен с молодыми дамами. Одна из дам, с которой он разговаривал по-французски, спросила его, есть ли у него братья, он ей ответил:

— Non, madame, je suis seul et unique dans mon genre. (Нет, сударыня, я один и единственный в своем роде).

Мне показалось даже, что он как-то особенно подчеркнул последние слова. Но я так подозрительно относилась к нему, что не ручаюсь за верность своего впечатления. А вот один из наших лейтенантов с негодованием сказал моей маме.

— Каков этот Скобелев! Он обратился ко мне с просьбой познакомить его с такими дамами, с которыми можно провести весело время. Я спросил его: „Разве вам было скучно с дамами, с которыми вы познакомились в доме начальника станции?"

— Он бросил на меня такой взгляд, в котором я ясно прочел: „Ну и олух же ты, братец мой!" Право, мне кажется, что все эти господчики приезжают сюда из Петербурга не столько для дела, сколько для безделья.

— Вы правы,—шепнула я лейтенанту, с которым была в большой дружбе.

Этот самый лейтенант вскоре сыграл большую роль в моей жизни. Он был членом кружка прогрессивной

молодежи, в котором участвовало несколько дам и несколько морских офицеров. Я была дружна с одной из этих дам, хотя она была много старше меня. Она увлекла меня в этот кружок и я с головой окунулась в него. У нас устраивались чтения и дебаты и меня развивали согласно установленной тогда программе: Чернышевский, Писарев, Добролюбов, История цивилизации Бокля, Дарвин и т. д. Все это было довольно сумбурно, но я впитывала в себя все, как губка. Следующим этапом были статьи Михайловского в „Отечественных Записках".

— Вы представляете из себя удивительно благодарный материал — сказал мне мой приятель лейтенант, и я думаю, что он был прав. Для них я была благодарным материалом, а для меня они все были оракулами. Но они удовлетворяли тогда мою духовную жажду, увеличивая, однако, мое томление и желание вырваться на простор.

Как раз в это время из Петербурга приехал один морской доктор. Он был уже не молодой человек, много видевший на своем веку. Он рассказывал нам о студенческом движении в Петербурге, о распространении либеральных идей в обществе, о гонении на литературу и т. д. и т. д. Но на меня особенно сильное впечатление произвел его рассказ о том, что профессор анатомии Грубер в Медико-Хирургической Академии допустил женщин к практическим работам в своей препаровочной.

— Я видел, как занимаются женщины,—говорил он.— Грубер очень строгий профессор, большой педант, но он очень доволен ими.

— Ну, а что же дальше?—спросила я.—Какую пользу принесут им эти занятия по анатомии?

— Такую же пользу, как и всякое знание, — отвечал он. — Они практически изучат анатомию. Но я вот что скажу вам: в Петербурге очень серьезно поговаривают

о том, что в Медико-Хирургическую Академию будут допущены женщины. Как, на каких основаниях, — этого я не могу вам сказать.

Между тем, в этот период шла деятельная подготовка к Хивинскому походу, но начальник отряда, полковник генерального штаба М., не захотел действовать через папу и вести переговоры с туркменами. Он решил круто обращаться с ними, как с покоренным народом, требуя, чтобы аул Гассан-Кули доставил ему необходимое количество верблюдов. Папа предостерегал его, говоря, что туркмены свободолюбивый народ и что так обращаться с ними не следует.

— Тут кочуют иомуды — мирное племя, не разбойники, с ними можно вести переговоры, — сказал папа.

— Они требуют такую цену за верблюдов, какую я им давать не намерен, — категорически объявил горячий армянин полковник М. — Я заставлю их повиноваться Возьму с них контрибуцию.

Папа тогда сказал, что умывает руки. Пусть М. поступает, как хочет.

И вот случилось следующее. Туркмены угнали из аула всех верблюдов подальше в степь и сами ушли. В ауле остались только женщины и дети. Тогда полковник М. распорядился перенести аул Гассан-Кули с берега реки Атрек к восточному лагерю в Чикишляре. Приказ этот был немедленно исполнен и все кибитки перенесены, так как женщины, конечно, не могли оказать никакого сопротивления солдатам.

Мы ездили на лодках в Чикишляр и видели этот несчастный аул, сорванный со своего насиженного места. Стада овец и баранов паслись тут же, но ни одного верблюда не было видно, все они были уведены, также

не видно было и ни одного мужчины. На закате солнца оттуда слышались заунывные песни. Это пели женщины и молоденькие девушки, сидевшие на берегу реки. На меня все это производило какое-то жуткое впечатление.

Но полковник М., нахмурив брови, говорил тоном, не допускающим возражений:

— Они явятся сюда, придут к своим кибиткам. Я заставлю их покориться!..

Но они не явились...

И вдруг на Ашур-адэ было получено известие, что на начальника отряда было произведено покушение. Его жена, страшно испуганная, тотчас прибежала к моему отцу. Ей рассказал офицер, приехавший из Чикишляра. Папа тоже получил об этом официальное донесение.

Оказалось следующее: накануне вечером в палатку начальника, у которой стояли часовые, хотела ворваться молодая туркменская девушка, вооруженная половинкой больших острых ножниц, которыми стригут овец. К ней бросился один молодой прапорщик, чтобы остановить ее и она его ранила в руку, тогда часовые приняли ее в штыки, она упала окровавленная на землю.

В лагере произошел переполох. Раненую девушку подняли и понесли в лазаретную палатку. Туда же пошел вслед за нею и раненый в руку офицер, которому сделали перевязку. Рана его оказалась неопасна. Не так было с девушкой, которую закололи штыками. Пожилой доктор немец, так и не выучившийся во всю свою жизнь говорить правильно по-русски, рассказывал потом:

— А жаль!.. Совсем молоденькая... Я зашивал эта девушка, зашивал!... Но нельзя всякая дыра зашить... Спасти было нельзя... умерла... Жалко!..

Жалко!.. И всем нам было жалко. Много толков на Ашур-адэ вызвал этот случай. Положение обострялось.

— Папа, как он может так поступать с туркменами?— говорила я с негодованием. — Ведь это мирные иомуды, пастухи и земледельцы. Они ведут с нами торговлю, постоянно приезжают сюда со своими товарами. К тебе они относятся с большим уважением. Это не текинцы, отъявленные разбойники!

— Да, — отвечал папа, — но М. не знает туркмен, не понимает их. Он хочет обращаться с ними, как с порабощенным народом и требует от них повиновения.

— И зачем нужно устраивать этот поход? — продолжала я рассуждать. — Жили мы дружно с туркменами до сих пор и продолжали бы так жить.

Папа рассмеялся над моими наивными рассуждениями и только сказал:

— Ну, ты еще слишком молода, чтобы понять высшие государственные соображения.

Конечно, я их понять не могла, да и не я одна. Я слышала порицание походу. Один старый каспиец сказал: „Ведь надо будет итти через страшную безводную пустыню, а зачем?..

Но молодежь мечтала отличиться в этом походе.

Положение становилось все более и более натянутым и, наконец, полковник М., убедившись, что ему не переупрямить туркмен, приехал на Ашур-адэ и обратился к папе с просьбой снова затеять переговоры с туркменами, вызвать к себе туркменских старшин.

— Ко мне они не поедут,—сказал он.—Вы же, Кирилл Никифорович, умеете говорить с этими... дикарями. Я ведь раньше не имел с ними дела, понимаете?

— Понимаю, — согласился папа.

М. не сказал папе, что когда он послал к старшине племени своего посланного в сопровождении переводчика, то получил ответ: „Мы тебя не знаем. Мы знаем только „дарьябеги“ (повелитель моря — официальный титул папы) и только с ним будем говорить“.

Но папа все-таки узнал об этом ответе от своих приятелей туркмен.

И вот на Ашур-адэ снова появились туркмены, очень важные, осанистые старики в халатах. Я не раз видала их уже раньше, когда они приезжали на остров по разным торговым делам, а один раз по поводу арестованной в заливе туркменской разбойничьей лодки и переговоров об освобождении пленных туркмен. Я говорила уже, что папу они знавали еще совсем молодым офицером и относились к нему весьма симпатично, хлопали по плечу и уверяли его в своей дружбе. Но переговоры затягивались. Восточные люди не любят торопиться. Бедный папа уставал от этого и часто выходил из своего кабинета, вытирая пот с лица. Наконец, он пришел к маме и сказал:

— Ну, дело налаживается. Можешь передать это своей приятельнице Наталье Петровне (жене полковника М.). На-днях мы устроим совместное собеседование. Двое главных туркменских старшин, а также имам, который стоит во главе всего племени, приедут ко мне. Но мне нужно будет предварительно обломать его, нашего полковника.

Я была рада некоторому унижению полковника. Его жена была очень милая женщина, происходила из очень хорошего дворянского рода, богатая помещица, но его я терпеть не могла, хотя он всегда был со мной очень любезен и даже слегка ухаживал за мной. Он мне стал особенно противен после одной сцены, которой я была невольной свидетельницей. Как-то мы целой компанией отправились в Чикишляр. Это было нечто в роде пикника. Полковник был чрезвычайно любезным хозяином, показывал нам разные военные упражнения и для нас развели костры, варили плов, жарили шашлык, словом, все было прекрасно и всем было весело. И вот, полковник

призвал горниста и приказал ему играть сбор. Это был совсем молодой солдат, очевидно, только недавно поступивший на военную службу. Он, видимо, страшно волновался, стоя перед строгим начальством, и я заметила, что у него дрожали руки, когда он поднес рожок ко рту. И вдруг он заиграл не то—ошибся!

Полковник взбеленился, и мы не успели моргнуть глазом, как он ударил его своим сильным кулаком в лицо. Солдат чуть-чуть пошатнулся, но остался стоять, и даже не опустил рожка, только из рассеченной губы у него потекла кровь, да один глаз налился кровью.

— Играй! — гаркнул полковник.

И несчастный заиграл окровавленными губами на этот раз уже то, что нужно. Я убежала, потому что дольше не могла выносить этого зрелища.

— Очень уж у вас чувствительные нервы, барышня,— сказал мне один из офицеров, заметивший это. — А мы привыкли к этому. У нас это обычное дело, и солдат за зуботычиной не гонится. Не даром они свое лицо называют плевательницей.

Я не знала, смеется ли он надо мной, или говорит серьезно. Не сказав больше ни слова, я с возмущением взглянула на него и отошла. И вдруг я почувствовала, что все эти люди стали мне глубоко противны. Мне хотелось поскорее уехать и под предлогом сильной головной боли я умолила оставить меня в покое и дать мне посидеть одной в кибитке. Там я оставалась почти до самого отъезда. Дома я рассказала папе об этой сцене. Я так волновалась, что у меня даже слезы выступили на глазах.

— Неужели все так поступают? — воскликнула я. — Ведь я никогда не слыхала, чтобы у нас на судах били матросов.

— У нас теперь не бьют, а когда я был молодым офицером, то еще применялись жестокие наказания, часто только по усмотрению командира или старшего офицера. У нас на корабле был доктор, очень вспыльчивый человек, который постоянно жаловался на своего вестового и требовал для него строгого наказания, обыкновенно 25 ударов линьками (тоненькими веревочками). Это была самая обычная мера наказания во флоте. Кто не понимал, тот думал, что удар такой тоненькой, хотя и очень упругой, веревочки сущие пустяки. Так думал и наш доктор, поэтому он так щедро награждал линьками бедного матроса. Я был тогда старшим офицером на судне и мне надоели эти вечные приставания доктора, да и жаль было матроса. И вот, однажды, когда мы сидели после ужина в кают-компании и все изрядно подвыпили, я сказал доктору:

— А знаете ли вы, какое это жестокое наказание „линьки“?

Доктор расхохотался:

— Такая тоненькая веревочка?

— Да, такая тоненькая. А хотите пари, что вы не выдержите и пяти ударов!

— И все двадцать пять!—хвастливо проговорил доктор.

— И после третьего запросишь пощады! — вмешался один мичман.

Так как все были пьяны, то пари состоялось на две бутылки шампанского (некоторые требовали больше). Принесли линьки и один из лейтенантов взялся наносить удары. После первого же удара по голой спине доктор сильно поморщился, после второго взвизгнул, а после третьего, действительно, попросил пощады.

— Неженки у нас люди, — заметил суровый старый капитан-лейтенант, настоящий „морской волк“, много изъездивший морей и даже служивший в английском торговом флоте. — А посмотрели бы они, как дерут „кошками“ (девятихвостками) в английском флоте!..

— После этого случая с доктором, у нас на корабле линьки больше никогда не применялись, — сказал папа.

Рассказ папы развеселил меня. Я крепко обняла его и поцеловала.

— Конечно, — сказала я, — такие доказательства бывают наиболее убедительны. Не правда ли, папа?..

V

Торжественное заседание с представителями туркмен-иомудов состоялось у папы в кабинете и, как ни было это неприятно упрямому полковнику, но ему пришлось смириться и внять голосу благоразумия. Мы же стояли на галлерее и прислушивались к громкому разговору, доносившемуся из кабинета, и к грубым голосам туркмен. Мой приятель лейтенант потирал от удовольствия руки. Он не любил полковника за его высокомерие.

Торг был заключен; туркмены обещали доставить необходимое число верблюдов и проводников, но поставили условием, чтобы аул немедленно был водворен на место, что и было исполнено.

Повидимому, теперь уже были устранены все препятствия к походу и приготовления к нему шли удвоенным темпом. Полковник несколько раз ездил в Тифлис и к нам из Петербурга снова приезжали разные лица в командировку, преимущественно адъютанты каких-нибудь высокопоставленных военных, осматривавшие лагерь в Чикишляре и неизменно восхищавшиеся нашим уютным островком.

Маме и папе все эти посещения изрядно надоели. Всегда надо было заботиться, как угостить и где устроить этих приезжих, так как на острове у нас не имелось ни гостиниц, ни ресторанов.

Все они говорили любезности папе и, главным образом, начальнику отряда, полковнику М., восхваляя его энергию и настойчивость и одобряя его поведение с туркменами.

— Так с этим народом и надо, — говорил один молодцеватый адъютант (кажется, он был адъютантом великого князя Михаила Николаевича). Они должны были почувствовать вашу железную руку и, конечно, покорились.

Папа только улыбался себе в бороду, слушая такие речи.

Наконец, был назначен день выступления. Мы, т.-е. мама, папа и я с сестрой, приехали в Чикишляр накануне вечером, чтобы присутствовать на прощальном ужине. Приехали также и некоторые из аширцев, приглашенные женой начальника отряда. Длинные столы были поставлены на открытом воздухе и освещены разноцветными фонариками, а кругом горели костры, на которых готовился ужин. Сначала все были очень торжественно настроены, и произносились только официальные речи и тосты, но когда шампанское развязало языки, то началось настоящее веселье.

Молодые офицеры, перед тем, как сделать „скачек в неизвестность", хотели насладиться жизнью. Впереди их ждала страшная пустыня, лишения, муки жажды и, может быть, безвестная смерть... Тем беззаветнее веселились они в данную минуту, не задумываясь о будущем. Пели песенники, играла музыка, раздавался веселый смех. Пробовали танцовать, но это оказалось слишком трудно на песке.

Так веселились до поздней ночи. Мы удалились в довольно возбужденном состоянии в отведенные для нас кибитки и еще долго слышались в тиши ночной веселый смех и возгласы. Впрочем, повара и военная прислуга также долго провозились с уборкой всего.

А на рассвете в лагере уже снова началось движение. Слышался лай собак, рев верблюдов, лошадиное ржание, стук ящиков, разные крики и возгласы. Опять были разведены костры для приготовления утреннего чая и везде закипели котелки.

Солнце уже поднялось над горизонтом и своими лучами позолотило окружающие пески.

Мы наскоро выпили поданный нам в кибитку чай и вышли поскорее наружу, чтобы не пропустить ни малейшей подробности выступления отряда. Картина была в высшей степени интересная и оживленная. Меня особенно занимали верблюды; они так послушно опускались на колени. Их навьючивали и когда груз был привязан и все было готово, вожатый прикасался к верблюду своей палочкой, и верблюд немедленно поднимался на ноги. Его тотчас же отводили в сторону. Навьюченные верблюды ставились в шеренгу.

Для нас, желающих сопровождать отряд до первой остановки, тоже были приготовлены верблюды. Нам помогли на них взобраться, и мы сидели по два человека на верблюде. Я в первый раз ехала на верблюде и, признаюсь, чувствовала себя очень дико, сидя на такой вышке.

Когда все было готово, подали сигнал к отправлению, заиграл рожок, грянул оркестр, и под звуки музыки мы тронулись в путь.

Я не скажу, чтобы мне понравилось это катание. В особенности было неприятно раскачивание, и мою спутницу, одну молодую аширскую даму, очень скоро укачало. Я совершенно была равнодушна к морской качке, но верблюжья качка совсем особенная и, очевидно, к ней надо привыкнуть. Впрочем, худо ли, хорошо ли, мы все-таки добрались до первой остановки. Оттуда почти все наши спутники повернули назад к Чикишляру и остались только мы с сестрой, да жена начальника отряда. Мы поехали дальше в сопровождении двух морских офицеров с Ашур-адэ. Мы решили провести еще

один ночлег в пустыне и, когда на рассвете отряд тронется дальше, повернуть назад.

Меня очень занимало это путешествие и я уже несколько привыкла к езде на верблюде, в корзине, называемой „Хеджей", так что могла сосредоточить свое внимание на окружающей местности.

Сначала мы ехали вдоль реки, поросшей камышем. Жители аула, стоявшего на другом берегу реки, завидев наш караван, выбежали на дорогу, перекликаясь между собою. Войско представляло для них необычное и, конечно, интересное зрелище и они с любопытством указывали друг другу на блестевшее на солнце оружие солдат. Наши проводники туркмены что-то прокричали им и они также ответили каким-то возгласом, к сожалению, только мы его не поняли.

— А как вы думаете, Эмилия Кирилловна, пожелали ли они нам счастливого пути? — спросил меня офицер, ехавший верхом на лошади рядом с моим верблюдом.

— Может быть, — отвечала я.

— Едва ли, — заметил он.

Пожалуй, он был прав, сомневаясь в этом, и дальнейшие события подтвердили его опасения. Отряд полковника М. не достиг цели, т.-е. Хивы, и вернулся назад вразброд, претерпев в пустыне страшные мучения жажды. Большинство верблюдов пало, а других увели с собой бежавшие проводники, бросив на дороге беспомощных людей. К счастью, никто все-таки не погиб в этом несчастном походе, и люди, полумертвые и изнемогавшие от жажды, дотащились до реки и это спасло их жизнь. Как оказалось потом, одним из проводников отряда был молодой туркмен, брат молодой девушки, покушавшейся на жизнь начальника отряда и заколотой часовыми у его палатки. Очевидно, судьба отряда была уже предрешена.

В полдень стало очень жарко, и наш караван должен был остановиться на отдых на берегу реки. Разбили палатки, чтобы укрыться в их тени, и напоили животных. Верблюды улеглись нагруженные, а солдаты устроили для себя нечто в роде навеса из камыша, чтобы укрыться от знойных лучей. Скоро весь лагерь погрузился в сон и только, когда жар начал немного спадать, он снова пришел в движение. Развели костры, чтобы приготовить легкий обед и чай и затем снова отправиться в путь.

Мы распрощались здесь со своими спутницами и кое с кем из спутников, которые возвращались назад. В этом месте мы покидали берега реки и перед нами открывалась уже безбрежная пустыня. Кое-где изредка показывались вдали смерчи—колонны песка, вздымаемые ветром и передвигающиеся с места на место.

— Точно призраки или души умерших, не находящие себе покоя на земле. Я чувствую, что мог бы сделаться здесь суеверным, — шепнул мне офицер, ехавший рядом.

Признаюсь, мне стало как-то жутко, как будто эта пустыня ждала своих жертв, чтобы поглотить их.

Все как-то умолкли и слышны были только мерные шаги каравана, верблюдов и людей. Так мы ехали довольно долго в полном молчании. Наконец, кто-то из солдат, очевидно, чтобы прогнать тягостное чувство, овладевшее всеми, затянул песню, сразу же подхваченную хором. Это всех оживило, и дальнейший путь прошел уже более весело—с шутками и смехом.

Мы доехали до колодца, обросшего какими-то жалкими кустиками, возле которого предполагали остановиться на ночлег. Разгрузили верблюдов, опять развели костры и для нас разбили палатку. Потом проиграли зорю, пропели вечернюю молитву, и мы улеглись. Все мы с непривычки чувствовали сильную усталость, но я все же долго не могла заснуть и, лежа на своей койке,

любовалась в отверстие палатки на звездное небо, словно усыпанное алмазами и горевшее разноцветными огнями. Удивительно, как волшебно хороши эти ночи в пустыне! Никогда и нигде потом я не видела ничего подобного.

Утром нас подняли очень рано. Начались обычные сборы в путь. Мы наскоро позавтракали, напились чаю и стали прощаться с отъезжающими. У меня как-то защемило сердце. Много ли вернется и кто вернется? — думала я. Мне даже жалко стало полковника, которого я не любила.

Обратный путь в Чикишляр мы совершили быстрее и без всяких промедлений, ни разу не останавливаясь. Во-первых, наши верблюды, свободные от груза, бежали гораздо скорее и притом они чуяли, что идут домой, но настроение у нас было довольно унылое. В Чикишляре нас ожидали кое-кто из аширцев, приехавших нас встретить, и, несмотря на поздний час, мы все-таки решили вернуться домой на лодках. Ночь была такая тихая, звезды так ярко сияли, что плыть в лодках, после езды на верблюдах, было истинное наслаждение.

После ухода отряда и отъезда многих офицеров, на Ашур-адэ снова стало тихо. Полковой оркестр был отправлен на пароходе, кажется, в Красноводск, и наш милый Федор снова уселся на свой стул в клубе и огласил залу звуками гармоники. Он был доволен. В Чикишляре был оставлен лишь небольшой пост и устроена таможенная застава. Но жизнь там замерла совершенно.

Также и на Ашур-адэ после прежнего оживления наступило затишье. Многие из наших аширских дам стали жаловаться на скуку. Но я и члены нашего передового кружка были довольны, что прекратилась суматоха, перестали приезжать на остров разные блестящие адъютанты. Мама также отдохнула от постоянных приемов. Я же более, чем когда-либо, стала мечтать об отъезде в Петербург, о поступлении на курсы. Но как, как этого добиться? — я не знала.

Папа, очень следивший за мной, замечал мое настроение и оно его тревожило. Он увез меня с матерью в Баку, куда ему надо было ехать по делам и так как он должен был ехать дальше в Тифлис, то оставил нас гостить в доме своего приятеля—командира экипажа. Нас там очень любили и всячески старались развлекать. Около нас теперь сгруппировалось новое общество. До сих пор мы вращались больше среди моряков, но на этот раз нас окружала судейская молодежь. Папа был доволен; он полагал, что среди судейских я найду что-нибудь более подходящее для себя и перестану, как он выражался, увлекаться „завиральными идеями насчет женской самостоятельности“. Кажется, он ничего так не боялся, как чтобы я не сбилась с пути (что он подразумевал под этим — я не знаю). Он очень желал, чтобы я вышла замуж поскорее, хотя мне не было еще восемнадцати лет. В Баку он обратил внимание на одного молодого человека, члена суда, показавшегося ему более солидным человеком, чем его товарищи и потому более подходящим для меня. К тому же он был человеком состоятельным, что также имело не малое значение. Он жил со своей матерью, очень типичной хохлушкой, обладавшей прекрасным имением в Черниговской губернии и обожавшей своего сына. Дмитрий Иванович, так звали его, сразу влюбился в меня к большому удовольствию папы и, к удивлению, я понравилась и его матери.

— Она немножко „быстрая“ — говорила она про меня. — Но ничего, уходится, когда выйдет замуж.

Папа, уезжая на неделю в Тифлис, сказал мне:

— Я желаю увидеть тебя невестой, когда вернусь. Это уж будет дело твоего мужа отпустить тебя в Петербург, если он захочет.

Может быть это был выход? Я решила переговорить с Д. И., если только он сделает мне предложение. Я так и сделала. Д. И. был влюблен и, разумеется, на все был согласен. Да, да, он будет хлопотать о переводе в Петербург. Но ведь это нельзя сделать так быстро, как мне бы хотелось и сначала мы с ним должны поехать в деревню к матери. Надо доставить эту радость старушке!

Он так робко просил об этом, что у меня просто не хватало духу сразу отказать ему. Я только сказала: „Но ведь мы же не надолго поедем туда. Я бы хотела поспеть к экзаменам в Петербург..."

— Сколько поживется, — успокаивал он меня. — Уедем, когда захотим. Но я уверен, что вам там понравится.

Я с самого начала откровенно сказала Д. И., что я его не люблю и только чувствую к нему дружеское расположение.

— Я постараюсь быть для вас самым искренним другом и сделать вашу жизнь спокойной и счастливой, насколько это будет от меня зависеть, — прибавила я.

Я произносила эти слова, совершенно не вникая в их смысл и только думала в эту минуту, как будет доволен папа. А Д. И. только улыбнулся и сказал:

— Для начала и этого довольно. Я твердо уповаю, что вы научитесь любить меня.

Через пять дней приехал папа и он действительно был очень доволен, обнимался с Д. И. и шутя советовал ему не давать мне слишком много воли, держать в руках. Товарищи Д. И. тоже были довольны, всячески угождали мне, а уж про мать его и говорить нечего. Я, можно сказать, каталась, как сыр в масле.

Разумеется, весть о моей помолвке была послана с отходящим пароходом на Ашур-адэ и оттуда, с этим же

пароходом, были отправлены мне поздравительные письма. Я получила коротенькое письмо от моего приятеля лейтенанта, в котором заключались следующие строки:

„Опомнитесь! Что вы с собой делаете? Ведь вы выходите замуж по настоящему! Разве вы полюбили своего будущего мужа и отказываетесь от всех своих прежних мечтаний?"

На это письмо я уже не имела времени ответить, да и не смогла бы. Но оно подействовало на меня, как душ холодной воды. В самом деле, что я делаю? Я заломила руки с отчаянием. Д. И. говорит, что он поедет со мной в Петербург и там, если у меня не пройдет желание (он так и сказал), я могу поступить на курсы. Но когда это будет, когда осуществится? А до тех пор я должна буду жить с ним, быть его женой? При одной этой мысли меня охватывала дрожь. Д. И. был симпатичен, как многие другие люди, но когда я только подумала о нем, как о муже, то внезапно почувствовала отвращение. Нет, нет, ни за что! Я не могу сделаться его женой, не могу!.. Но где же выход, где? Лучше умереть!..

В особенности острое чувство отчаяния охватило меня после следующего факта: сделавшись официально моим женихом, Д. И. держал себя вначале очень сдержанно. Он точно понимал или чувствовал, что нежности и фамильярности будут мне неприятны и воздерживался от них. Таким образом, наши добрые отношения не нарушались. И вот, надо же было случиться, что как раз после получения мною вышеупомянутого письма Д. И. нарушил сдержанность.

Случилось это после обеда в доме его матери, на котором присутствовали его товарищи и другие приглашенные. Было выпито много шампанского, произнесено много тостов и говорилось много глупостей. В конце-

концов Д. И. заставили поцеловать меня, как свою невесту. Я покорилась этому обряду, скрепя сердце, не зная, как избежать его. Но, конечно, я чувствовала себя очень скверно. Воспользовавшись всеобщим шумом и тем, что все были заняты друг другом и я могла ускользнуть незаметно из огромной столовой, я укрылась в небольшую уютную гостиную, где никого не было. Но Д. И. заметил мой уход и пошел вслед за мной. Мы очутились вдвоем. Находясь все еще в возбужденном состоянии, он вдруг крепко обнял меня и стал целовать. Я стала отбиваться, и так сильно толкнула его, что он упал на ковер.

„Боже мой! Боже мой! Что я делаю? Куда мне деваться?..“ мелькнуло у меня.

Д. И. поднялся с ковра, отряхнул платье и, подойдя ко мне, — так как я отскочила в амбразуру окна, — сказал просительным тоном:

— Не сердитесь, голубка моя. Я забыл, что вы еще не могли привыкнуть к моим ласкам.

„Не могла? Да, я никогда не привыкну!“ хотелось мне крикнуть. Но я промолчала...

Вернувшись домой, я с трудом могла скрыть свое душевное состояние от сестры, которая была очень весела и все приставала ко мне с расспросами. Я зарылась в подушки, представилась спящей, но спать не могла и все думала свою горькую думу. Что делать? Что делать? Как выпутаться? С отчаяния я решила отравиться. Никакого яда под рукою не было, кроме капель с опиумом. Я выпила весь пузырек.

Другого результата не было, я только впала в беспамятство...

В доме произошел переполох и послали за военным доктором, который бывал у нас очень часто и немного

ухаживал за мной... Мне он нравился, потому что был веселый, остроумный человек, но мы вечно пикировались с ним.

Он пришел очень взволнованный, но опасность была невелика, порция яда была незначительна, и он быстро привел меня в чувство. Оставшись со мной наедине, он сказал мне:

— Ай, ай, как вам не стыдно!..

Он отлично угадал, в чем дело и, как сам сказал мне, предвидел кризис. Он следил за мной и за моим женихом и считал разрыв неизбежным.

— Разве вы подходите друг другу? — говорил он с жаром. — Что это вы выдумали? Выходить замуж только для того, чтобы поступить на медицинские курсы? Лучше вам было бы заключить фиктивный брак, чтобы освободиться из-под родительской власти и уехать. Впрочем, Дмитрий Иванович, разумеется, не согласился бы на такую комбинацию, а Серафима Максимовна так пришла бы в священный ужас. Нет, милая барышня, оставьте вы эти глупости. Либо выходите замуж, как следует, либо запаситесь терпением и ждите, когда ваш родитель покинет Ашур-адэ, и вы выскочите из своей водяной тюрьмы. Тогда вам будет посвободнее. А все же я советую вам честно объясниться с Д. И. Вы когда уезжаете в свою водяную темницу?

— Пароход уходит завтра ночью, — отвечала я.

— Ну, вот вы и объяснитесь с ним по хорошему, если можно, даже сегодня. Ведь он, конечно, явится к вам, когда узнает, что вы нездоровы. Не откладывайте объяснения.

— Послушайте... — начала я.

— Знаю, знаю! Ведь я друг ваш...

Но мне так и не удалось переговорить с Д. И. в этот день. Он, конечно, пришел, но пришли и другие и ни

разу, за целый день, я не оставалась с ним вдвоем. Мне кажется, однако, что он смутно чувствовал что-то неладное в отношениях со мной. И на другой день я не могла говорить с ним, потому что на пароходе собралось много знакомых, чтобы проводить нас. Пришел и доктор, конечно. Он многозначительно посмотрел на меня, и я невольно покраснела. Я чувствовала себя прескверно и не могла дождаться, пока, наконец, будет поднят якорь, и пароход покинет бакинский порт. Веселые разговоры, смех, шутки, все это страшно раздражало мне нервы и было для меня настоящей пыткой. Но эта пытка прекратилась, когда мы вышли в море и моим глазам открылось широкое водное пространство, сверкающее в солнечных лучах. Море, родное море. Один вид его успокаивал меня, и теперь, когда я стояла у борта и, облокотившись, смотрела на волны, перегонявшие друг друга, то положение мое не казалось мне таким безнадежным, как раньше.

Я решила написать с этим же пароходом письмо Д. И. и во всем откровенно сознаться ему. Ведь я его не обманывала, оправдывала я себя, я ни разу не говорила ему, что люблю его, что могу его полюбить! Он сам, опираясь на мою молодость, был уверен, что может научить меня любить его. Так они все говорят. Как смешно! Точно можно научить любить. Но я все же виновата, я не сказала ему правды, не сказала, на что я рассчитывала, выходя за него замуж и какую роль предназначала ему...

Такого рода мысли не давали мне покоя всю дорогу, как я ни старалась отгонять их. Я стала очень молчалива, что, конечно, приписывалось моей разлуке с женихом. Ах, не могу сказать, до какой степени это раздражало меня!

Письмо я написала и в нем я не пощадила себя. Оно пошло назад с тем же пароходом, но я решила, пока не

получу на него ответа, никому не говорить ничего. Я была рада, что моего приятеля лейтенанта не было на Ашур-адэ. Он был послан в Красноводск с каким-то поручением. Однако, мне все же пришлось подвергнуться всяким расспросам со стороны знакомых, но маме я созналась во всем и умоляла ее избавить меня своим авторитетом от этой пытки. Пришлось, конечно, повиниться и папе и выдержать целую бурю. Я понимала, что мой поступок разрушил все его лучшие надежды и не могла на него сердиться. Однако, пока не был получен ответ от Д. И., я не могла считать себя свободной. Жизнь моя была особенно тяжела в течение этого времени. Отец совсем перестал говорить со мной, и я чувствовала себя точно отверженной.

Через месяц пришло письмо. Д. И. возвращал мне слово. „Конечно, я не могу жениться на вас, — писал он, — раз наши стремления и чувства так диаметрально противоположны. Вы рветесь на простор, а я ищу семейного уюта и покоя. Я не упрекаю вас, я просто не учел вашей молодости. Будьте же счастливы!..“

Я была свободна! Одна эта мысль делала меня счастливой. Я побежала на берег моря и поведала ему свою радость...

Весть о моем разрыве, конечно, породила много толков как в Баку, так и на Ашур-адэ. Но мне это было безразлично... Вскоре, однако, всеобщее внимание было отвлечено страшным стихийным несчастием: сильнейшей бурей и наводнением.

Была уже поздняя осень, особенно бурная в этом году. Самым сильным ветром, всегда причинявшим разные беды в нашей части моря, был Вест, западный ветер. В бакинской области таким ветром, приносившим бури,

был Норд, северный ветер. Когда на Ашур-адэ задувал Вест, то сейчас же отдавался по всему острову приказ тушить огни в виду опасности пожара. Если бы это случилось, то при таком ветре весь остров неминуемо сделался бы жертвой огня. Но никогда еще этот ветер не достигал такой силы, как в ту ночь, о которой я вспоминаю теперь. Западный ветер, дувший весь день накануне и оставивший всех жителей без горячей пищи, достиг к ночи страшной силы.

Это была ужасно зловещая ночь. Колокола звонили не переставая, рев прибоя все возрастал, и вдруг море точно поднялось и пошло на приступ. Маленькие офицерские домики, стоявшие на самом берегу в более низкой части острова, были в одно мгновение унесены морем, но люди, предвидевшие опасность, успели во-время спастись от ярости волн и укрыться в более высокой части острова. С кораблей были посланы лодки, которые подбирали людей, попавших в воду и отвозили их на суда. Наш дом уцелел, хотя море подступило к самой калитке сада, и у нас собрались все, жившие в домиках, разбросанных на берегу. К счастью, к утру буря начала стихать и к полдню даже выглянуло солнце, но все же ветер был настолько силен, что никто не решался развести огонь, и мы продолжали оставаться без горячей пищи, пробавляясь только чаем. Лодки все время разъезжали, вылавливали разные вещи и привозили их. Все успокоилось только к вечеру, когда окончательно стих ветер. Зато ночь была великолепная, небо необыкновенно прозрачное и все усыпанное звездами. Суда расцветились фонариками и на главном флагманском судне, на котором был поднят брейд-вымпел, — флаг начальника, был устроен ужин для бедных голодных аширцев, два дня почти ничего не евших. Наши гостеприимные моряки постарались своей заботливостью вознаградить за претерпенные лишения и страх. После всех треволнений этой бурной ночи, конечно, все чувствовали себя привольно и уютно в обществе любезных судовых хозяев.

На другое утро погода была великолепная, но когда солнце осветило остров, то нашим взорам представилась удивительная и жуткая картина: западный берег был покрыт гробами. Море размыло кладбище, устроенное на полуострове Потемкин, — так называлась длинная песчаная коса восточного берега, — и принесло покойников к острову. Зрелище было, вызывавшее невольное содрогание, в особенности у слабонервных людей. Тотчас же были отправлены лодки к берегу, усеянному гробами, и матросы, подобрав покойников, водворили их на прежнее место, только новые могилы пришлось вырыть подальше от моря, чтобы предотвратить подобные неприятные случайности.

Когда успокоилось волнение, вызванное этими происшествиями, жизнь на Ашур-адэ потекла прежним нормальным порядком. Мы собирались по вечерам в клубе, устраивали спектакли и литературно-музыкальные вечера и вообще развлекались, как могли. Я же попрежнему носилась со своей мечтой и занималась математикой, чтобы быть готовой к экзамену в случае, если... Но часто на меня нападала апатия и опускались руки.

Мой приятель лейтенант вернулся, но мой отец так неблагосклонно относился к моей дружбе с ним, что нам неудобно было часто видеться и разговаривать. Узнав о разрыве моей помолвки, он поздравил меня.

— Хорошо, что вам не удалось погубить себя! Можно ли было поступать так, очертя голову, — сказал он. — Подождите, мы придумаем какой-нибудь выход.

— Вы слыхали о фиктивном браке? — спросил он меня вскоре после этого.

— Конечно, слыхала и читала, — отвечала я.

— Ну, так вот: вам надо заключить фиктивный брак.

Я с величайшим изумлением взглянула на него.

— Кто же захочет жениться на мне подобным образом? — воскликнула я.

— Я знаю такого человека, — сказал он. — Скоро вы узнаете от меня его имя.

Больше я ничего не добилась от него.

На праздниках рождества я встретилась с ним в библиотеке и он спросил меня:

— Эмилия Кирилловна, вы знаете Ивана Гордеевича Пименова, инженер-механика, который служит вместе со мной на пароходе?

— Знаю, но очень мало, — отвечала я. — Он бывал у нас на официальных вечерах и потом я встретилась с ним во время нашей верховой поездки в Ашреф, где мы вместе осматривали развалины.

— Ну, вот. Что вы скажете о нем?

— Да ничего кроме того, что он красивый молодой человек, кажется очень застенчивый. Он не танцует и не ухаживает за дамами и как-то держится в стороне от веселой компании. Но почему вы спрашиваете?

— Он согласен жениться на вас.

— На мне? — вскричала я. — Да вы с ума сошли!

— Я говорил с ним. Мы ведь с ним большие друзья. Я все объяснил ему. Он едет в Петербург для слушания лекций по металлургии в горном институте. Он получает командировку. Это уже решено. Вы выйдете за него замуж и уедете с ним.

— Вы и это решили? — спросила я.

— Да, решил. Надо за вас решать, а то вы будете здесь киснуть. Слушайте, Эмилия Кирилловна, это самая

лучшая комбинация, какую только можно придумать. Он прекрасный человек, добрый, благородный, я его хорошо знаю. Он не будет мешать вам ни в чем и будет вашим другом. Наберитесь храбрости и сделайте этот шаг.

— Он согласен на фиктивный брак?

— Да, говорю вам! Он знает вас. Но вы должны сами поговорить с ним сегодня же вечером. Он сам не решится это сделать. А потом вам предстоит трудная задача уломать вашего папеньку.

Я чувствовала, что собираюсь совершить отчаянно смелый поступок, и сердце мое сильно билось, когда я вечером входила в залу клуба, где должна была свершиться моя судьба. „Что-то ожидает меня? Но я не должна бояться“, говорила я себе. „Смелость города берет“.

Необычайность моего предприятия увлекала меня, а я была слишком молода, чтобы задумываться о последствиях. Короче говоря, в тот же вечер судьба моя решилась. Я сделала предложение своему будущему мужу, и он весьма деликатно избавил меня от лишних фраз, сказав просто:

— Мне уже все известно. Сергей Александрович (мой приятель лейтенант) все рассказал мне. Я согласен на все ваши условия и буду вам другом.

Больше не было сказано ни слова и только перед уходом он спросил меня:

— Когда прикажете прийти переговорить с вашим отцом?

Как сон пролетело для меня это время. Бурные объяснения с папой, и, наконец, данное им согласие и последовавшая за этим трогательная сцена. Целый месяц длилась упорная борьба. Я держалась стойко, не отступала ни на шаг от своего первоначального решения, но

в душе все же испытывала колебания. Всего тяжелее для меня было то, что я должна была представляться безумно влюбленной, чтобы убедить отца и мать в том, что ради моего счастья они должны согласиться. Отец считал этот брак неравным и никак не мог понять, как это я могла так внезапно и безумно влюбиться в скромного и бедного офицера, ничем незаметного, редко бывавшего у нас и никогда не ухаживавшего за мной. Но наше соглашение никому не было известно, знали эту тайну только трое: мой друг лейтенант, мой жених и я. С моим другом я видалась только мельком все это время. Зная как подозрительно смотрит мой отец на его близость со мной, мой друг лейтенант избегал со мной разговаривать, когда мы встречались с ним в клубе или на прогулке. Наконец, отец мой устал бороться со мной и когда мама обратила его внимание на то, что я похудела и прежнее мое оживление пропало, он сказал со вздохом:

— Ну, что-ж! Придется дать свое согласие. Я навел о нем справки. Он происходит из хорошей семьи, морской семьи и все отзываются о нем хорошо. Беда только, что он беден и у него ничего нет, кроме мизерного офицерского жалованья. Правду сказать, я очень боялся, что она влюбится в лейтенанта З. Они были неразлучны и для нее он был каким-то оракулом. А что он влюблен в нее, это бросается в глаза. Ведь он женат и у него есть уже двухлетний ребенок, поэтому мне так и не нравилась его дружба с Милочкой. Пусть уж она выходит замуж!

Эти слова отца мне передала мама, прибавив, что он зовет меня в кабинет. Я пошла с бьющимся сердцем. Ведь уже почти месяц отец не разговаривал со мной!

Он меня встретил следующими словами:

— Я даю свое согласие. Пусть твой жених придет ко мне. Но помни, что ты все-таки выходишь замуж

против моего желания. Ты избалована, а вам придется жить на скудное офицерское жалованье и терпеть лишения. Не жалуйся тогда.

— Не буду, папа, будь спокоен,—отвечала я.

Я была официально объявлена невестой и мое длительное напряженное состояние прекратилось, но я всетаки не почувствовала облегчения. Поздравления, визиты, толки о свадьбе, приготовление приданого, все это в конец измучило меня. Я только мечтала о том, чтобы поскорее все кончилось. Временами я чувствовала сильные приступы малодушия и упрекала себя за это. Но ведь я в действительности собиралась совершить прыжок в неизвестность, и будущее иногда пугало меня. Хватит ли у меня сил, твердости характера, способностей, выдержать испытание? Но смелость присуща молодости и я отгоняла все сомнения, которые охватывали меня, стараясь укрепить в себе самоуверенность.

Мой друг лейтенант теперь уже мог беспрепятственно беседовать со мной и приходил к нам всякий раз с моим женихом, так как он был его закадычным другом. А если Иван Гордеевич был на вахте, то З. приезжал один и проводил вечер со мной. Мы часто гуляли втроем или катались на лодке, но тут большею частью к нам присоединялись другие и велись веселые шуточные разговоры.

Наконец, наступил день свадьбы. Отец хотел воспользоваться этим торжеством с некоторыми дипломатическими целями, поэтому на свадьбу были приглашены трое самых почетных туркмен. Нас, новобрачных, поставили на эстраде и туркмены в парадных халатах, со стаканами шербета в руках, и в сопровождении переводчика, подошли к нам и произнесли цветистые поздравления и по-

желания. Самый старший из них, имам, сказал мне, что он знал моего отца молодым и рад теперь видеть его дочь невестой.

По окончании свадебного пира меня проводили на пароход, на котором служил мой муж; пароход уже готовился к отплытию. Он должен был идти к персидскому берегу и там сменить другое постовое судно, которое возвращалось на Ашур-адэ. Папа посылал этот пароход, чтобы дать мне возможность совершить на нем мое свадебное путешествие. Капитан парохода не ехал с нами и уступил мне свою каюту. Заместителем его был мой приятель лейтенант З., так что все складывалось к моему величайшему удовольствию.

Было два часа ночи, когда якорь был поднят и заработал винт и через час мы были уже на месте, так как расстояние от Ашур-адэ до русской фактории было всего семь миль. Но мне не хотелось идти вниз и я долго стояла на мостике и смотрела как розовела верхушка Демавенда.

Эти две недели, которые я прожила на пароходе, пролетели, как чудный сон. Такая тишина и спокойствие окружали меня после всех треволнений, испытанных мною в последнее время и мне было так хорошо в привычной для меня судовой обстановке. Но домой я приехала не на радость, потому что застала больного отца. Я перебралась с парохода в свою прежнюю девическую комнату и ухаживала за папой. Муж мой должен был уехать в Баку, чтобы хлопотать об отпуске и прикомандировании к горному институту, я же оставалась на Ашур-адэ до полного выздоровления папы, который тоже собрался ехать лечиться в Пятигорск, и было решено, что я поеду со своими родителями до Баку, где ждал меня мой муж.

Хотя мы ничего не говорили никому, но о моем странном браке все-таки проведали и меня раздражали разные глупые намеки и общее любопытство. Наконец, настал день отъезда. Так как на этом же пароходе уезжал и мой отец в отпуск, то нас провожало большое общество, пили шампанское и произносились тосты. Я спустилась вниз в каюту, чтобы уйти от этой веселой шумной компании и на мгновение осталась вдвоем со своим другом лейтенантом З.

Он подошел ко мне.

— Милая!— сказал он мне, взяв мои руки и крепко сжимая их в своих руках.—Я выпускаю вас на простор. Сохраните себя! Помните...

Больше он не мог выговорить ни слова. У него точно перехватило горло. Но и я не в состоянии была произнести ни слова, потому что боялась разрыдаться. Так мы простояли молча несколько минут, потом он крепко, крепко поцеловал мои руки и отпустил их. Мы расстались.

Через два часа пароход прошел уже пловучий маяк и покинул Астрабадский залив. Я долго не могла оторвать глаз и смотрела, как исчезал вдали маленький зеленый островок, с которым у меня было связано столько ярких воспоминаний. Впереди меня ждало новое, неизвестное и какая-то странная непонятная тоска прокрадывалась мне в душу...

VI

Мы приехали в Петербург в мае. Мой муж никогда не бывал в этом городе, потому что детство и юность он провел в Николаеве, а потом все время плавал. Петербург представлял для него много нового и интересного и я была его чичероне. Эта роль была мне по душе в особенности потому, что первое время я очень тосковала и мне надо было как-нибудь рассеять свое гнетущее настроение.

Мой муж обнаружил большую деликатность. Он ни о чем меня не расспрашивал, не приставал ко мне и так бережно обращался со мной, точно с больной. Он был большой любитель растений, прекрасный садовод и говорил мне потом, что я напоминала ему растение, пересаженное на другую почву. Необходимость поскорее устроиться, приняться за занятия, заставила меня стряхнуть с себя уныние, овладевшее мной. Мы наняли маленькую квартирку в две комнатки, на Петербургской стороне, и деятельно принялись устраивать свое маленькое хозяйство. Я взяла на прокат пианино и по вечерам играла, окончив свои подготовительные занятия к конкурсному экзамену.

Мой муж навел для меня все необходимые справки и я подала прошение в Медико-Хирургическую Академию о допущении меня на курсы ученых акушерок, так были названы тогда медицинские курсы, основанные при академии. К прошению я должна была приложить разрешение мужа на поступление в академию, от девушек же требовалось разрешение родителей.

Мы с мужем вели очень тихую жизнь, наполненную занятиями. Знакомых у нас не было и я не искала их, так же как я и не искала никаких развлечений. Не хотела я и разыскивать родных, которые были у меня в Петербурге. Так хорошо было жить в полной неизвестности, вдали от всяких толков и пересудов. И за это время мы сблизились с ним. Я научилась ценить его благородство и деликатность. Мы много разговаривали. Я рассказывала ему о своих метаниях и о своих исканиях и он внимательно выслушивал меня. Оказывается, мой друг лейтенант много говорил ему обо мне.

— Он изливал мне свою душу, — сказал мне мой муж. — Он ведь любил вас и, однажды, сказал мне, что если бы он был свободен, то женился бы на вас. Но это счастье не для него...

Я жалела, что мой муж заговорил со мной об этом. Он коснулся такого чувствительного места в моей душе, о котором я всячески старалась позабыть, чтобы создать себе новую жизнь. Ведь как часто я старалась позабыть прошлое, но до сих пор я не могла изгладить его из своей памяти и порой я тосковала и хотела бы снова вернуться на маленький зеленый островок, где я так томилась когда-то! И я упрекала себя в непоследовательности и малодушии.

Муж мой ничего этого не подозревал. Моя душевная жизнь, как тогда, так и впоследствии, всегда оставалась для него сокрытой. Он не обладал крупным самолюбием, не строил широких планов и был доволен настоящим. Он мечтал только о тихой, скромной семейной жизни вместе со мной и говорил мне потом, что такая жизнь была его идеалом. Мы оба трудимся, каждый в своей области, — говорил он. Он видел, что во мне все еще бурлило и приписывал это моей молодости, — мне было только 18 лет, — и он был старше меня на двенадцать

лет. Он был уверен, что современем это кипение уляжется.

За неделю до экзамена он занимался со мной день и ночь, так как я была недостаточно сильна в математике. Когда я очень уставала, он уговаривал меня лечь и заснуть, обещая непременно меня разбудить через три часа и всегда исполнял свое обещание,

Наконец, наступил решительный день. Это было в конце сентября. С сильно бьющимся сердцем я вошла в большой зал конференции академии на Выборгской стороне. Экзаменаторы, все профессора академии, были уже на своих местах. Зал был полон молодых женщин; их было больше сотни и я почувствовала робость, очутившись среди них и в первые минуты я совершенно не могла даже различить их лиц. Наверное, они гораздо умнее и образованнее меня, думала я. Самой себе я казалась жалкой провинциалкой, ничего больше.

В зале стоял неясный гул голосов, в котором трудно было разобрать отдельные слова и звуки. Нас стали вызывать по списку, лежавшему на столе и нам розданы были листки с нашими фамилиями. Мы были разделены на группы. Часть отправилась в большую аудиторию, где надо было писать сочинение на одну из трех предложенных тем, другие же распределились по другим аудиториям сдавать экзамены по математическим наукам.

Я пошла с первой группой и должна была прежде всего написать русское сочинение. Помню заданную тему: „Черты общественной жизни в сочинениях Тургенева". Когда я взялась за перо, то мой страх, сомнения и колебания сразу исчезли. Многие другие, сидевшие со мной, так же быстро справились со своей работой, но не все писали на одну и ту же тему. Мы

отдали свои листы дежурному, стоявшему у дверей и вышли в коридор.

Скоро мы разговорились. Тут оказались приезжие из разных мест, которые так же, как и я, были одержимы неясным стремлением на простор. Одна из них была красивая женщина лет тридцати, жена крупного чиновника в Ташкенте и сестра известного художника. Она томилась в узких рамках провинциальной жизни, а детей у нее не было.

— Ведь это единственная дверь, которая для нас приоткрылась, и мы все, жаждущие движения воды, устремились сюда,—сказала она и прибавила:

— Я уверена, что здесь очень мало найдется таких, которые чувствуют истинное призвание к медицине.

Я невольно согласилась с нею. Разве я, например, чувствовала призвание к медицине? Да я даже не задумывалась об этом.

Экзамены кончились к пяти часам и мы все, усталые, но довольные, что так или иначе окончилось испытание, высыпали веселой гурьбой на тротуар Нижегородской улицы на Выборгской стороне. Мой муж ждал меня в вестибюле и мы вместе отправились домой.

— Результаты будут известны через три дня,—сказала я ему.

Эти три дня ожидания я провела, валяясь на оттоманке. Крайнее напряжение нервов, поддерживавшее меня все последнее время, исчезло и я как-то совершенно ослабела нравственно и физически. Муж мой уговаривал меня встряхнуться, пойти погулять с ним или в театр, просил меня сыграть что-нибудь, но я категорически отказывалась от всего. Я не сделаю ни шагу, говорила я, пока не будет решена моя участь.

Наконец, наступил этот день и в актовом зале академии опять собралось много народа. Все столпились около колонны, где были вывешены списки выдержавших экзамен

и допущенных в академию. Таких счастливиц оказалось 96; не выдержало, кажется, 14. Тут же висело приглашение на молебен 1-го октября, т.-е. на другой день.

Не могу выразить, с каким неизъяснимым чувством я прочла свою фамилию в списке принятых в академию. У меня даже потемнело в глазах от радости. Мой муж тоже пришел со мной. Когда мы вернулись домой, я бросилась к нему на шею и крепко поцеловала его, говоря, что это я обязана ему, его доброте и терпению, что цель моя достигнута теперь.

В эту ночь я сделалась его женой.

На другой день я присутствовала на торжественном молебне. Академический священник произнес прочувственную речь, но больше всего нас порадовало, что один профессор сказал, что мы не должны смущаться ни названием курсов „для образования ученых акушерок“, ни тем, что курсы названы четырехлетними, так как имеется в виду потом прибавить пятый курс и преподавать нам медицинские науки в полном объеме.

Мы вышли из академии веселой гурьбой, окрыленные самыми радужными надеждами. Лекции начинались уже на следующий день и первой была лекция ботаники профессора Мерклина.

Мы собрались в хорошенькой, уютной и светлой ботанической аудитории, соединенной с теплицами академии и уставленной оранжерейными растениями. В аудитории было тепло и ароматно. Я испытывала особенный подъем духа и какое-то радостное волнение и все время в душе моей звучали слова: „Я студентка! я студентка!“ Впрочем, все были веселы и возбуждены так же, как и я. Но гул голосов тотчас же смолк, как только открылась дверь и вошел профессор.

Это был пожилой человек, в виц-мундире, который окинул нас каким-то любопытным взглядом и начал читать лекцию.

Мы знали про него, что он немец, ординарный профессор, читает также студентам, что кафедру он получил по протекции великой княгини Елены Павловны, у которой был ученым садоводом. По-русски он все-таки говорил плохо, хотя жил всю жизнь в России. Первые слова, которыми он начал свою лекцию, запечатлелись в моей памяти и я до сих пор их не забыла. Передаю их здесь так, как он их произнес:

„От сольнешного тепля нагревается земля. Из этого наблюдения вывели заключение, которое имеет для нас большое значение“...

Мы с некоторым удивлением переглядывались, а моя соседка, очень веселая, едва удержалась от того, чтобы не прыснуть со смеху. Но постепенно в аудитории воцарилось серьезное настроение,—мы вспомнили важность переживаемого момента,—и лекцию спокойно прослушали до конца, стараясь не обращать внимания на его смешное произношение.

Однако, нельзя сказать, чтобы он читал интересно и когда у нас начались серьезные занятия в анатомическом театре и в лабораториях, то его лекции стали очень мало посещаться. Но так как ботаническая аудитория была теплая, то мы приходили туда погреться и съесть свои бутерброды, оставаясь на первый час; после же перемены, на второй час, оставалось всего несколько человек. С этой целью мы даже учредили между собою дежурства, чтобы не терять время понапрасну на его бессодержательных лекциях. Хитрый немец это заметил и придумал запирать аудиторию, чтобы мы не могли удирать во время перерыва. Но мы перехитрили его, заказали другой ключ, и аудитория, наполненная во время первого

часа, неизменно оказывалась совершенно пустой после перерыва, потому что мы все нарочно ушли, чтобы наказать его. Мерклин неимоверно удивился нашему исчезновению, но после этого он больше не пытался запирать нас и примирился с тем, что его аудитория всегда пустовала на второй час.

На переходном экзамене с первого на второй курс наш Мерклин тоже отличился. Отпечатанные программы были розданы нам и мы увидали, что Мерклин вычеркнул четыре билета о тайнобрачных. Никто из нас не поинтересовался, зачем он это сделал, мы просто были довольны, что надо меньше готовить к экзамену. Аудитория Мерклина была красиво декорирована тропическими растениями и цветами, так как на экзамен должны были приехать какие-то важные придворные дамы и камергеры, интересовавшиеся посмотреть на студенток.

И вот в аудитории собралась действительно блестящая публика: пожилые дамы в великолепных шелковых и бархатных платьях, рассматривавшие нас в золотые лорнетки, и мужчины в расшитых золотом мундирах, звездах и лентах. Когда вся эта публика уселась рядом с профессором, то он роздал им экзаменационные программы и, обращаясь к одной из дам, повидимому, наиболее важной, сказал, указывая на вычеркнутые билеты о тайнобрачных:

— Этот роман из жизни растений я счел за лучшее исключить из программы.

Такую заботливость проявил этот смешной профессор о нашей нравственной чистоте!

Забавный случай, но уже в другом роде, произошел еще раньше на лекции анатомии профессора Ландцерта. Во время лекции вдруг явились в аудиторию почетные гости, в сопровождении начальства академии, придворные дамы и камергеры. Когда они уселись, попросив профессора продолжать лекцию, то мы в первый момент ничего не могли понять: профессор говорил совсем не о том, о чем говорил перед этим. Он только что начал читать лекцию о костях верхних конечностей и груди, а теперь он вдруг заговорил о костях таза, о котором мы еще не имели понятия, и о тазовой области. Мы с недоумением переглядывались. Но когда гости ушли, он обратился к нам со следующими словами:

— Вы знаете, что наши курсы называются курсами для образования ученых акушерок и, следовательно, программа лекций должна с этим сообразоваться. Я же вам читаю по такой же программе, как студентам, потому что мы имеем в виду сделать из вас врачей, а не акушерок. Но пока еще это не установлено официально и не прибавлен пятый курс, мы должны действовать осторожно. Вы этим не смущайтесь. Все, мы, профессора, на вашей стороне и желаем обойти все подводные камни.

В придворных сферах, повидимому очень интересовались нашими курсами. Мы были передовые женщины нигилистки, и на нас приходили смотреть, как на каких-то заморских зверей. В одном из зданий академии, на капитал, пожертвованный в. кн. Еленой Павловной, была устроена столовая для студентов и студенток, где можно было получать обед из двух блюд по абонементу за 18 коп. и в придачу хлеба и квасу, сколько угодно. Затем, кто-то прислал английскую газету „Daily News", номера которой получались в столовой и лежали на столах, хотя мало кто из студентов и студенток понимал по-английски. В этой же зале за стеклянной витриной обыкновенно восседала какая-нибудь дежурная придворная дама, в шелковом платье с треном, лорнировавшая студентов и, в особенности, студенток и продававшая им большие жареные

московские пирожки по три копейки штука. Эти пирожки казались нам необыкновенно вкусными, когда они были горячими, особенно тогда, когда мы, голодной ватагой, врывались в столовую в свободные часы между лекциями, так как лекции читались в различных местах академии на Выборгской стороне и нам приходилось перебегать из одного здания в другое.

Особенно большое расстояние было между анатомическим театром в конце Нижегородской улицы и Химическим институтом на набережной у Литейного моста. И все-таки, несмотря на все неудобства такой беготни, какие мы все были оживленные и веселые и среди нас не нашлось бы ни одной, которая не была бы воодушевлена энтузиазмом и не гордилась бы своим званием студентки!

Придворные дамы, обслуживавшие студентов и студенток в столовой (у „Аленки", как называли мы это благотворительное учреждение), приводили иногда с собой своих дочек подростков, для того, чтобы они поглядели, какие такие бывают студентки, и забавно было видеть, с каким любопытством разглядывали нас эти девочки, выросшие в придворных сферах. Одна из них, прелестная девочка лет пятнадцати, заговорила со мной, подавая мне пирог. Ее мать, какая-то графиня с громким именем, фрейлина императрицы, куда-то вышла ненадолго и ее дочка набралась в ее отсутствие храбрости и спросила меня, говорю ли я по-французски. Я ответила утвердительно, и между нами тотчас же завязалась оживленная беседа на французском языке. Почему ей захотелось заговорить со мной по-французски, я не знаю. Она спросила меня, неужели мне не страшно заниматься в анатомическом театре, где кругом находятся мертвецы и вообще работать над трупами?

— Я бы ни за что не могла!—сказала она.

— Если бы вы хотели заниматься наукой, то побороли бы свой страх. Труден только первый шаг,—отвечала я.—Потом вы бы привыкли.

В этот момент вернулась ее мать и с удивлением увидала, что ее дочь так оживленно разговаривает со студенткой.

— Представь себе, maman, обратилась к ней дочь.— Mademoiselle чудесно говорит по-французски!

Мне стало так смешно, что я чуть не расхохоталась громко и, чтобы еще больше поразить ее, сказала:

— Я не mademoiselle, а madame, потому что я замужем.

Тогда уже ее мать с большим интересом стала расспрашивать меня, желая знать мою родословную. И с тех пор, когда она бывала дежурной в столовой, то чрезвычайно любезно здоровалась со мной и всегда заговаривала.

В этот первый год нас показали также императору Александру II, не всех, конечно, но тех, которые, по мнению нашей почетной инспектриссы Ермоловой, не имели вида нигилисток. Избранные, которых она считала возможным показать царю, получили приглашение на освящение клиники Вилльє. После этой церемонии нас собрали в зал и туда пришел император, в сопровождении наследника, будущего Александра III, и целого синклита блестящих генералов. Мы были ослеплены обилием звезд и лент. Император, привыкший иметь дело с институтками, видно не знал, как ему вести себя с нами. Его вывела из затруднения Ермолова. Она сказала ему, что среди нас есть смолянки, что его, видимо, обрадовало. Их тотчас же вызвали вперед и царь стал их расспрашивать, какого они выпуска и кто их родители. Разговор, впрочем, был очень короткий и затем царь ушел вместе со всей своей блестящей свитой. Ермолова потом сказала нам, что царь через своего адъютанта

передал, что остался нами очень доволен. Чем? Мы недоумевали. Должно быть нашей наружностью.

В конце первого учебного года, после последнего переходного экзамена, — это был экзамен по анатомии, — у меня родился сын. Так как я была единственная, с которой случилось нечто подобное на курсах, то это явилось необыкновенным событием и моего первенца назвали „курсовым ребенком". Мои подруги навещали меня и возились с ним, тем более, что это событие произошло в июне и все были свободны.

Так прошел мой первый учебный год; он промелькнул, как сон. Заботы о ребенке, учение, заполняли все мое время. Мне некогда было задумываться ни о чем и, казалось, мой жизненный путь определился окончательно. С мужем мы жили дружно. Он приходил за мною, если у меня бывали вечерние занятия в академии, для того, чтобы я не возвращалась одна, и, вообще, очень заботился обо мне и моих удобствах. Но беда заключалась в том, что недостаток средств уже давал себя чувствовать. Конечно, в своих письмах домой я никогда не упоминала об этом. Я писала о своей радости по поводу рождения ребенка, но не обмолвилась ни словом о том, какие это внесло осложнения в мою жизнь.

На второй год в академии произошли серьезные события.

Нам и студентам читали лекции одни и те же профессора, только в разное время. Физиологию нам и студентам читал профессор Цион. Мы его совсем не знали, но студенты его ненавидели и имели на то основания, хотя он читал хорошо и его учебник считался лучшим.

Но человек он был безусловно дрянной. Он был то, что впоследствии называли „черносотенцем", всячески старался повредить студентам, которых считал неблагонамеренными, не останавливаясь даже перед доносами. Студенты решили его бойкотировать и обратились к нам, как к своим товарищам, с просьбой о поддержке. Положение наше было очень трудное. В академии начались волнения и Ермолова обратилась к нам с предостережением:

— Помните, что от вас зависит судьба курсов, — сказала она. — Если вы примете участие в студенческом движении, то курсы будут закрыты. Вы ответите за это перед всеми женщинами.

На собраниях мы указывали на это нашим товарищам студентам и многие, понимая наше трудное положение, находили, что нам лучше воздержаться от участия в каких-либо демонстрациях и держаться в стороне. Но это становилось труднее с каждым днем, в особенности, когда Цион, несмотря ни на что, явился к нам в аудиторию читать лекцию. В коридорах толпились студенты и Циону приходилось проходить как сквозь строй мимо них и они провожали его разными нелестными эпитетами. Я просто не могу понять, как он мог так долго выдерживать эти атаки. Наконец, дело дошло до кризиса. Однажды вечером, когда я вместе с несколькими студентками направлялась в анатомический театр для занятий в препаровочной, то, подойдя к Литейному мосту, мы заметили какое-то необычайное движение. Люди бежали по мосту на Выборгскую сторону и мимо нас проскакали конные жандармы.

— Что там происходит? — спросила я и мы тоже прибавили шагу.

Нижегородская улица была полна народу и около академии стояла толпа, состоявшая, главным образом,

из студентов. Часть студентов, избранная делегатами, как нам объяснили, отправилась к квартире начальника с намерением вызвать его, чтобы он выслушал их жалобы. Эти делегаты были заперты во дворе академии и оказались арестованными. Конные же жандармы были вызваны, чтобы разогнать студентов, собравшихся на улице у здания академии и требовавших освобождения товарищей. Волнение было очень велико и все возрастало. Все те студенты, которые должны были в этот день вечером работать в анатомическом театре, тоже были тут. Лавочник с Нижегородской улицы, полицейские и вообще разные обыватели, знавшие уже нас в лицо, грозили нам, что и нас тоже арестуют, как только увидят, что и мы участвуем в студенческом бунте. Признаюсь, что мы несколько струсили, вспомнив слова Ермоловой—как бы это отразилось на курсах, если бы мы оказались арестованными вместе со студентами, и мы тут пережили несколько неприятных моментов. Не знаю, чем бы это могло кончиться, если бы начальник академии не оказался на должной высоте. В конце-концов он все-таки вышел к студентам, выслушал их и велел всех освободить. Никто не был арестован и на этот раз все обошлось благополучно благодаря тому, что очень многие из Совета профессоров оказались на стороне студентов и против Циона. Цион вынужден был прекратить чтение лекций и больше не возобновлял их ни в университете, ни в академии, а вскоре был официально уволен от должности профессора академии. На этот раз студенты одержали победу.

Третий курс, на который я перешла, ознаменовался для меня тем, что в течение этого курса у меня родился второй сын и на этот раз роды были не вполне благополучны и я долго не могла оправиться. К тому же мой

муж получил тогда место на заводе морского ведомства в Колпино. Хотя ему дали казенную квартиру, отдельный домик с садом, но за нее все же делали вычеты из жалованья, которое было небольшое, так как он считался на военной службе и жить нам стало еще труднее.

Мне приходилось ездить на лекции и практические занятия из Колпино. Эти поездки отнимали у меня массу времени и очень утомляли меня. Когда же на меня нападало уныние и я начинала опасаться, что не выдержу этого испытания, тем более, что приходилось все-таки терпеть лишения, а я не хотела просить помощи у родителей и скрывала свою нужду и бедность, то невольно передо мной вставал образ моего друга, лейтенанта З. Я только теперь поняла, что означали его прощальные слова: „Сохраните себя!“ Он знал, что семья подрежет мне крылья, пригнет меня к земле. Я же была еще так молода и неопытна, что не поняла его, а он не решался говорить прямо.

Только теперь мне все стало ясно, говорила я себе. Да, я не должна была превращать свой фиктивный брак в настоящий, тем более, что для меня даже не служила оправданием страстная любовь. Я как-то пассивно стала женой своего мужа и продолжала ею быть. Но я ценила его душевные качества и меня трогала его глубокая любовь ко мне. Он-то был готов для меня на всякие жертвы и в целом огромном Петербурге не было человека, который был бы мне ближе его.

Так прошли пять лет моего учения и моей упорной борьбы за существование. Наступило время последнего испытания. Пятый курс был давно уже открыт и, после русско-турецкой войны, кончившие курс медицинские студентки и выдержавшие государственный экзамен полу-

чили звание женщин-врачей и нагрудный академический значек с буквами Ж.-В. Конечно, это обстоятельство всех нас чрезвычайно воодушевило.

Вследствие тесноты, существовавшей в академии, решено было перевести наши курсы в Николаевский военный госпиталь на Песках. Мне пришлось там слушать только клинические лекции пятого курса и сдавать государственный экзамен. В госпитале мы очутились уже в специально военной обстановке. Студентов там не было, но профессора были те же самые. В академии все уже привыкли к студенткам и все нас знали, в этом же старом военном госпитале, еще Николаевских времен, мы были диковинкой. Обстановка была странная. Над стеклянными дверями, ведущими в одно из офицерских отделений, виднелась большая надпись: „Любострастные болезни". Эта надпись была снята и все офицерские отделения были изъяты из этого корпуса, когда все отделы медицинского преподавания, как теоретические, так и практические, были переведены из академии в Николаевский госпиталь. Но сначала были там открыты только некоторые клиники и мне пришлось одной из первых дежурить сутки, вместе с другой студенткой, в отделении внутренних болезней, в солдатских палатах. К солдатам мы привыкли в академии и у нас не выходило никаких неприятных столкновений с ними. Они всегда относились к нам с полным уважением и доверием. Тут, конечно, было то же самое.

Однажды, покончив вечернюю работу в палатах, мы уселись в дежурной комнате, собираясь напиться чаю, который должен был нам принести приставленный к нам для услуг молодой солдат, по прозванию Мартышка. Была ли это действительно его фамилия, как он объявил нам, я не знаю, но под этой кличкой он был известен во всем госпитале. Мартышка был очень веселый, славный парень. Он принес нам чаю и сказал, что господа офицеры из второго этажа (мы были в третьем) желают с нами познакомиться и просят позволения притти к нам чай пить. Угощение они принесут с собой.

Конечно, мы отказались от такого любезного предложения и просили Мартышку передать „господам офицерам", что мы здесь не для того, чтобы распивать с ними чай и что нам некогда этим заниматься.

Должно быть „господа офицеры" обиделись на нас. Мартышка вернулся, улыбаясь во весь рот, и сказал нам:

— Они говорят: „Ну и пусть убираются к чорту! Таких важных нам не надо".

Мы очень хохотали и Мартышка вместе с нами.

— Им скучно, барышни,—пояснил он нам.—Вот они и надеялись, что теперь, когда тут будут госпожи студентки, им станет веселее.

Просто удивительно, каким тактом обладал этот простой солдат! Конечно, после такой неудачной попытки офицеры больше не пытались завязать с нами знакомство.

Наши курсы просуществовали только до 1881 года. Когда ушел военный министр Милютин, благодаря которому они были открыты при медицинской академии в 1872 году, то его преемник, новый военный министр, заявил, что они не нужны военному министерству и потому их надлежит либо передать какому-нибудь другому ведомству или закрыть. Таким образом, после десятилетнего существования курсы эти были закрыты. Говорили, будто императрица Мария Федоровна сказала: „Надо вернуть этих несчастных их семьям..."

VII

Я кончила курс в конце декабря 1878 года, когда наши курсы были еще в полном расцвете и ничто не угрожало их существованию.

В последний год моего пребывания на курсах в Петербург вернулись мои родители. Папа последнее время сильно хворал лихорадкой и это заставило его покинуть свое прекрасное место на Ашур-адэ и переселиться на север. Мне их приезд, конечно, доставил большую радость и в особенности меня порадовало то, что отец стал теперь совсем иначе относиться к моим медицинским занятиям и не считал это, как раньше, капризом девчонки. 29 декабря в день последнего выпускного экзамена,—это была оперативная хирургия,—в доме моих родителей состоялся парадный обед в мою честь, и папа сделал мне подарок, очень тронувший меня. Это был прекрасный набор хирургических инструментов и академический нагрудный значек, который он сам надел на меня. Я была беззаветно счастлива.

Я окончательно поселилась в Колпино, занялась хозяйством, детьми и открыла прием больных. Со стороны рабочих я сразу встретила доверие и число моих пациентов возрастало. Но зато иначе отнеслись ко мне мои товарищи-врачи. В Колпино был морской госпиталь, но мне туда был закрыт доступ для занятий, и один из старых врачей презрительно заметил, что я пишу рецепты из кулинарной книги.

Но меня как-то не трогали ни такие отзывы, ни их отношение ко мне. Меня огорчало другое. Я видела бедность, даже нищету, подчас ужасные антисанитарные условия и свое бессилие помочь. Мое же материальное положение почти совсем не улучшалось с тех пор, как я кончила курс. Я не могла брать плату с рабочих и вообще беднейших жителей и крестьян окрестных деревень, куда меня приглашали, а состоятельные люди редко обращались ко мне.

Как это ни странно, но мои родители не подозревали, какую борьбу за существование мне приходилось вести. Мне стало немного легче, когда я получила заведывание в течение летнего сезона приемным покоем на кирпичных заводах, в пяти верстах от Колпино. Родители и сестры часто навещали меня, но они ничего не замечали и считали мой брак счастливым.

Но была ли я счастлива? Муж мой попрежнему был добр и внимателен, однако, его уже затянула рутина заводской жизни и нам почти не о чем было разговаривать. Я чувствовала неудовлетворенность и большую душевную пустоту. Дети были еще слишком малы и не могли наполнить моей жизни. После кипучей деятельности и занятий на курсах, где я постоянно находилась в обществе молодежи, где рефераты, споры, собрания заполняли все свободное от занятий время, я очутилась в самой нудной обстановке. Среди заводского общества я не знала никого, кто бы интересовался чем-нибудь другим, кроме своей службы и карт. Общественные вопросы, которые так нас волновали на курсах, почти никого тут не интересовали и о литературе говорили очень мало. Я не любила карт, поэтому в обществе я очень скучала и даже чувствовала порой, что бывала в тягость хозяевам.

А к этому присоединилась еще и борьба с нуждой, необходимость рассчитывать каждую копейку и отказывать

себе во всем, даже в культурных удовольствиях. Я не могла бывать ни в театрах, ни в концертах, потому что это стоило слишком дорого, а когда мой отец вышел в отставку и уехал в Ниццу вместе с матерью, у которой развилась чахотка, то я стала очень редко бывать в Петербурге, все-таки поездки туда были сопряжены с расходами. Моя медицинская практика лишь в очень редких случаях доставляла мне нравственное удовлетворение, а построить на ней свое материальное благополучие я не могла и я все больше и больше убеждалась, что не гожусь для деятельности практического врача. Временами я испытывала гнетущую тоску, от которой не знала куда деваться и не было возле меня никого, кому бы я могла открыть свою душу, поделиться своими сомнениями и кто бы мог указать мне какой-нибудь выход. Между мной и мужем давно не было духовной близости, а физическая близость прекратилась после рождения четвертого ребенка.

Мой муж не замечал моего томления, а если и замечал, то не придавал этому никакого значения. Он был доволен своим настоящим, своей службой и не стремился ни к каким переменам. В Петербург он ездил только тогда, когда его посылали по делам службы. Я же с ужасом наблюдала, что он все больше и больше опускается умственно и нравственно, почти ничего не читает, кроме газеты и ничем не интересуется, кроме своей заводской работы. Он не любил ходить в гости и поэтому я тоже редко бывала где-нибудь и больше все сидела дома вечерами.

О, какие это были длинные и скучные вечера зимой! Муж спал в уголку на диване, утомленный, придя в шесть часов, после работы, маленькие дети тоже спали, а я, если за мной не присылали от больного, прочитав что-нибудь, но не будучи в состоянии ни на чем сосредоточиться, начинала расхаживать из угла в угол по комнате, дожидаясь, когда пробьет десять часов и можно будет велеть поставить самовар, разбудить мужа, напоить его чаем и тогда уже улечься спать по настоящему.

Так проходила жизнь. Я боялась окончательно погрязнуть в этом болоте и часто доказывала мужу необходимость уехать отсюда, просить перевода, например, на Черное море, где были все его родные. Все-таки это была бы перемена, которая может быть встряхнула бы его.

— А твоя практика?—возражал он.

— Ты знаешь, что стоит моя практика!—отвечала я с досадой.

Его инертность приводила меня в отчаяние, а в последние годы меня начало беспокоить еще одно обстоятельство. Он был выбран старшиной морского собрания и часто возвращался оттуда довольно сильно выпивши. Мне не нравилась компания, с которой он сошелся тогда, но заставить его порвать с ней я не могла; об его пассивное сопротивление разбивались все мои усилия.

— Надо что-нибудь сделать, надо!—говорила я себе.— Надо вырваться отсюда!

И я решилась.

Мне шел тогда 31-й год и во мне снова проснулась смелость и энергия молодости. „Неужели я не сумею устроить свою жизнь по иному?“ говорила я себе. „Неужели я должна задохнуться в этом болоте?..“

Я сказала мужу, что пора подумать о воспитании наших старших мальчиков. В Колпино была тогда только одна заводская школа для детей рабочих с курсом двухклассного сельского училища. Туда я не хотела отдавать своих детей. Мои старшие мальчики были уже достаточно хорошо подготовлены мной и могли поступить в старший приготовительный класс Анненской школы, где все пре-

подавалось тогда на немецком языке, а я хотела, чтобы они изучили этот язык.

— Я их отдам в Анненскую школу,—сказала я мужу.— Но для этого я должна переехать в Петербург.

— Как же ты будешь жить там?—спросил он, не высказав никакого возмущения, ни протеста.—Ты знаешь, что я не могу много уделить тебе.

— Это и не нужно,—отвечала я.—Ты дашь столько, сколько можешь. Я надеюсь устроиться в Петербурге, найти работу. Здесь я думаю продать свои ненужные вещи, гостиную, трюмо, большой буфет. Тебе ведь эти вещи тоже не нужны. Тебе останется кабинет, спальня и кое-какая другая мебель. Ты часто говорил, что у нас много лишних вещей и они только загромождают наши небольшие низкие комнаты и мешают твоим растениям. Подумай, сколько места очистится тогда для твоих пальм и всех твоих посадок!.. А денег, вырученных от продажи всех этих лишних вещей, мне хватит на переезд и на первоначальное устройство в Петербурге. Я не сомневаюсь, что скоро найду там работу. А ты будешь приезжать к нам по субботам и мы будем ездить к тебе. А летом я отправлю к тебе детей на дачу и приеду сама. Если я устроюсь, то нам обоим будет легче.

Меня несколько удивило, как легко он согласился на мое предложение. Поразмыслив, я решила, что ему даже улыбается такая жизнь. Беря на себя такую инициативу, я снимала с него все заботы о семье. Он уделял ту часть, которую считал возможным уделить и это была все же львиная доля, хотя и недостаточная, принимая во внимание такую большую семью, как наша, но остальное его уже не касалось. Больше он ничего не мог сделать и потому умывал руки,—я должна была изворачиваться, как умела.

Правду сказать, я сама не представляла себе ясно, как я устрою свою жизнь в Петербурге. Но как тогда,

на Ашур-адэ, делая свой прыжок в неизвестность, я не раздумывала, так и теперь, с тою только разницей, что тогда я была свободна, а теперь на моих плечах была большая семья. Но я так хотела выскочить из болота!..

В конце последней зимы в Колпино, когда мое решение было уже принято, произошло событие, повлиявшее на всю мою дальнейшую жизнь.

VIII

В числе моих пациентов в Колпино была одна старушка, домовладелица, очень меня полюбившая. Дочь ее, Верочка, премилая девушка, давала уроки. Она часто бывала у меня и так как они нравились мне, и мать и дочь, то и я порой запросто заходила к ним, если у меня были поблизости пациенты.

Это было перед масленицей. Верочка пришла ко мне и пригласила меня на пирог, по случаю именин своей матери, прося также привести с собой старших сыновей, Володю и Сережу, так как к ней должна приехать ее бывшая институтская подруга, тоже со своими мальчиками, ровесниками моих мальчуганов. Этой институтской подругой оказалась жена писателя, Николая Константиновича Михайловского, Людмила Николаевна.

Я увидала красивую, молодую женщину, очень живую, веселую и приветливую. Мне она понравилась, а ее сыновья, Коля и Марк, и мои мальчики сразу подружились, мы же стали разговаривать, как старые знакомые.

— Вы непременно должны приехать ко мне со своими мальчиками,—сказала она мне.—Мы живем в Любани. Вы, вероятно, слышали, что Николай Константинович был выслан из Петербурга и только на этих днях получил, наконец, разрешение вернуться. Я же, конечно, раньше осени не вернусь туда. Приезжайте же к нам теперь, на масленицу, в воскресенье, на блины, вместе с мальчуганами. Они там могут покататься с гор и, вообще, повеселиться.

Коля и Марк обрадовались, что мать их пригласила Володю и Сережу и тоже стали просить меня непременно привезти их, а Володя и Сережа смотрели на меня умоляющими глазами. У меня не хватило духу огорчить их отказом, ведь мои бедные мальчики еще никуда не выезжали из Колпино, не считая поездок в Петербург к дедушке и бабушке, когда я их брала с собой.

Я обещала Людмиле Николаевне, к великому восторгу всех четырех мальчуганов, приехать в Любань в воскресенье, и Коля и Марк объявили, что выйдут нас встретить на вокзал.

Признаюсь, предстоявший визит несколько смущал меня. Михайловского я знала, как писателя, зачитывалась его статьями в „Отечественных Записках" еще на Ашурадэ и он был своего рода кумиром для нашего передового кружка. Потом, в Петербурге, я видела его два раза на студенческих вечерах, но только издали. Я не была с ним знакома и никогда не стремилась познакомиться, хотя его наружность с первого же раза произвела на меня сильное впечатление. Когда один из моих товарищей студентов, бывший распорядителем, предложил мне познакомить меня с ним, то я отказалась.

— Отчего?—спросил он меня.

— Оттого, что я не хочу знакомиться с знаменитостями,—отвечала я.—Боюсь разочароваться при ближайшем знакомстве.

— Ну, здесь скорее может произойти обратное: вы будете очарованы. Михайловский общий кумир,—сказал он.

— Я не хочу ни того, ни другого, поэтому лучше воздержусь от знакомства с ним. Я преклоняюсь перед ним, как писателем и этого довольно с меня.

Я не видела больше ни разу Михайловского после этого вечера и вот теперь мне предстояло встретиться с ним.

В воскресенье, на масленой, я поехала в Любань. Коля и Марк, как обещали, встретили нас на вокзале и я пошла по улице в сопровождении четырех весело болтавших мальчуганов.

— Мама не могла вас встретить,—сказал мне Коля.— К нам приехало много гостей.

Признаюсь, меня немного смутило это известие, я не ожидала найти большое общество совершенно незнакомых мне людей. Но затем я успокоила себя мыслью, что при таких условиях мое смущение при первом знакомстве с знаменитым Михайловским пройдет незамеченным.

Хозяйка встретила меня очень любезно и тотчас же повела наверх, где была ее комната и комната мальчиков.

— Кабинет Николая Константиновича и столовая находятся внизу,—сказала она.—Там уже собрались все наши гости. Мы тоже пойдем туда, но я подумала, что вы, может быть, захотите снять шляпку и пригладить волосы и поэтому привела вас сюда.

— А много у вас гостей?—спросила я.

— Человек шесть, все литераторы: Лесевич с женой, Южаков с женой, Успенский и Мамин-Сибиряк. Верочка не могла приехать и моей гостьей будете только вы одна.

— А литераторы?—возразила я.

— Это все гости Николая Константиновича. Мне они надоели,—откровенно заявила она.

Я с интересом и с некоторым трепетом пошла за нею вниз. Я была так далека от литературного круга и несколько робела при мысли, что сейчас окажусь перед лицом стольких литературных знаменитостей. Хозяйка познакомила меня со всеми; дамы с любопытством оглядели меня, а сам хозяин довольно сухо поздоровался со мной. Потом он сам сказал мне, что был очень недоволен, потому что Людмила Николаевна пригласила помимо его ведома какую-то совершенно незнакомую даму в этот

день. А я чувствовала себя пренеприятно, точно какая-то пансионерка, не знающая куда ей девать свои руки и что ей говорить.

Мне казалось, что все на меня смотрят и мне было страшно неловко. Выручил меня из этого неприятного положения Глеб Иванович Успенский. Он долго пристально смотрел на меня, потом подсел ко мне и заговорил со мной о моей практике в Колпино, — ему сказали, что я врач, — и спросил меня, довольна ли я своей деятельностью? Это был щекотливый вопрос, но я откровенно сказала, что недовольна и объяснила, почему. Между нами завязался оживленный разговор. Он расспрашивал меня о курсах и о том, что побудило меня поступить на них и я как-то невольно разговорилась и рассказала ему о наших передовых кружках на Ашур-адэ. Я сказала ему, что я давно его знаю, хотя никогда его не видала и что мы зачитывались его произведениями, так же, как и статьями Николая Константиновича. Я описала ему нашу жизнь на острове.

Удивительно, что достаточно было одного упоминания об Ашур-адэ, чтобы исчезла моя застенчивость и робость и я заметила, что мой рассказ заинтересовал не только Глеба Ивановича. К нам присоединились и другие и меня закидали вопросами, на которые я едва успевала отвечать. Даже суровый хозяин, совершенно игнорировавший меня вначале, заговорил со мной.

Мне вдруг стало необыкновенно весело. Мамин-Сибиряк, красивый молодой человек, стал острить на мой счет, говоря, что я наверное бежала из персидского гарема и назвал меня „экзотической дамой“, что заставило Николая Константиновича улыбнуться. Первоначальная натянутость, господствовавшая в этом обществе, исчезла и все стали шутить и смеяться. В самом деле я тут невольно явилась новым и неожиданным развлечением.

— Вы к нам явились с луны,—сказал мне Южаков.

— Нет, только из страны льва и солнца,—отвечала я, смеясь, намекая на свою родину. Остров Ашур-адэ ведь лежал в Астрабадском заливе.

— Браво,—сказал хозяин и я почувствовала, что сразу приобрела интерес в глазах этого общества.

Как это забавно!—подумала я. Ведь только тот факт, что я приехала из какой-то неведомой страны, заставил их обратить на меня внимание. Не будь этого, я бы так и просидела весь вечер в уголку, никем незамеченная.

Более серьезный разговор у меня произошел с Лесевичем. Я знала, что он был очень серьезный философ и внешность у него была подходящая, но он оказался очень приветливым и остроумным собеседником. Я не читала его статей раньше, они казались мне слишком серьезными и малопонятными, но разговор его был очень занимателен. Мою горячую симпатию он приобрел в особенности после того, как я узнала, что он был офицером генерального штаба, но покинул военную службу и подвергся репрессиям вследствие отказа итти усмирять поляков. Я могла говорить с ним о своих детских чувствах и переживаниях во время польского восстания, о чем я давно, давно ни с кем не говорила и я видела, что он меня понимает и сочувствует. Очень меня заинтересовало также и то, что он был антагонист Христа и горячий приверженец буддизма. У него в кабинете был устроен алтарь, на котором стояли изображения Будды. Перед ними он совершал буддийское богослужение, облачившись в желтый шелковый халат, когда его просили об этом, что доставляло особенно большое удовольствие нашей молодежи.

Все эти люди, которых я встретила тогда в Любани в первый раз, очень скоро сделались моими близкими

друзьями и я вспоминаю о них здесь с самым теплым чувством.

Общее настроение повысилось и я уже вполне освоилась с этим новым кругом, куда я внедрилась, как совершенно чуждый элемент. Особенно меня радовало, что лед растаял между мной и хозяином, он перестал хмуриться и стал шутить и улыбаться вместе с другими.

— Николай Константинович повеселел и теперь нам всем будет весело,—шепнул мне Мамин, усевшийся возле меня.—Такое уж у него свойство. Когда он хмурится, то на всех нас ложится словно свинцовая тяжесть. Сегодня мы вам должны быть благодарны за то, что тучи рассеялись.

— Мне? Почему мне?—спросила я с удивлением.

— Ну, не краснейте, пожалуйста. Вы сумели ему понравиться и он пришел в хорошее настроение, а вместе с ним и мы все.

— Сумела? Я вовсе не старалась ему понравиться!—возразила я с негодованием, чувствуя, что я действительно краснею.

— Именно потому и сумели, что не старались. Он ведь у нас привередливый,—сказал Мамин.

Я ничего не могла ответить ему, потому что нас позвали в столовую.

Мне было очень весело, но несколько стесняло то, что я чувствовала себя как бы центром всех взоров. Вспоминая теперь этот удивительный день, явившийся поворотным пунктом в моей жизни, я все-таки не могу понять, почему так случилось и почему недружелюбное отношение ко мне вначале так быстро изменилось у хозяина и он стал разговаривать со мной, как со старой знакомой. Я уже знала, что с этой минуты этот замкнутый круг принимает меня в свою среду.

Людмила Николаевна посадила меня за обедом рядом с Николаем Константиновичем.

— Он так злился, что я вас пригласила, а теперь очень доволен,—сказала она мне.

Но мне не хотелось ни о чем думать, ничего анализировать.

Ах, как давно, как давно я не была так беззаветно весела, как в тот день!

Вечером уезжал Лесевич и мы все поехали его провожать на вокзал. Он уезжал в Тверь, где он жил в ожидании разрешения вернуться в Петербург. Меня же упросили ехать на последнем поезде. Когда мы выходили с вокзала, проводив Лесевича, Николай Константинович пригласил меня сесть с ним в санки, остальные тоже разместились в других санях. Наш возница, у которого была, очевидно, лучшая лошадь, очень быстро уехал вперед. Николай Константинович что-то сказал ему и он помчался. Ночь была великолепная, лунная, морозец легкий и санный путь очень хороший, так что такая поездка могла только доставить удовольствие. Я заметила, что мы едем по другой дороге и сказала это своему спутнику.

— Ну, да,—ответил он,—я просто хочу прокатиться с вами немного. После долгого сидения в душных комнатах это очень приятно, не правда ли?

— Да,—согласилась я,—но отчего вы не предупредили других? Может быть, все не прочь были бы участвовать в катании.

— Зачем они вам нужны? Удовольствуйтесь моим обществом. Я же совершенно доволен вашим... Знаете,—прибавил он,—я ведь был очень недоволен, когда вы явились. Никто вас не знал. Но вы меня заинтересовали.

— Чем?—спросила я.

— Тем, что вы не похожи на других. Вы не старались подлаживаться к нам, не говорили о литературных делах...

— Я их совсем не знаю,—сказала я.

— И это очень хорошо. Не вздумайте только теперь говорить со мной о литературе, о моих или чужих статьях, о „Северном Вестнике“, в котором я пишу и т. д. и т. д. Не нарушайте моего хорошего настроения. Если бы вы знали, как хочется иногда говорить о пустяках и как скучно, когда на вас смотрят и ждут, что вы будете говорить умные вещи. Пусть читают мои статьи, но не заставляют меня говорить!..

Он вдруг засмеялся.

— Я вспомнил, что рассказывал Мамин. Его пригласили в одно общество, где собрались городские и сельские учительницы, которых принято называть теперь „отрадными явлениями“. Вот эти „отрадные явления“ пожелали познакомиться с знаменитым писателем. „Сидят они,—рассказывает Мамин,—и смотрят на меня в упор, ждут от меня умных слов. А я ничего не могу придумать, что им сказать. Но тут мне пришла в голову блестящая мысль и я произнес только одно слово: „Брокгауз“. Ведь там заключаются все умные слова. Чего же им больше нужно?“

— И они остались довольны?—спросила я, смеясь от души.

— Не знаю,—отвечал Николай Константинович.—Это не важно, впрочем. Если только это не анекдот, то представьте себе Мамина, сидящего перед курсистками и придумывающего умные слова!

Мы оба расхохотались.

— Милая!—вдруг сказал он, беря меня за руку.—Не сердитесь на мою смелость. Но так хочется иногда переступить границы условностей. Неужели вы никогда этого не испытывали?

— Не знаю, я не отдавала себе отчета, вероятно...

— Мне хотелось бы знать о вас побольше. Что вы такое на самом деле?

— Я сама себя не знаю, — тихо проговорила я.

Он не выпускал моей руки и я не пыталась вырвать ее у него. Но он заметил мое смущение и сказал мне:

— Вы хотите вернуться к другим!

— Да, — ответила я чуть слышно.

Он велел вознице повернуть и мы помчались назад.

Я чувствовала себя ужасно неловко, потому что заметила (или мне так показалось), что все как-то странно посматривают на меня. И мне стоило большого труда овладеть собой и разговаривать, как ни в чем не бывало. Я рада была, когда наступил час отъезда, позвала детей и стала прощаться. Но Николай Константинович остался любезным хозяином до конца и проводил меня на вокзал.

Не один десяток лет прошел с тех пор, много утекло воды, но этот день и ночная прогулка до сих пор сохранились в моей памяти так живо, как будто это было вчера. А между тем, уже никого из этих людей, которых я видела тогда, не осталось в живых...

IX

Я больше не ездила в Любань и не видала Николая Константиновича, но Людмила Николаевна была у меня раза два. Она мне рассказала, что Николай Константинович уже переехал в Петербург и живет в Пале-Рояле на Пушкинской.

— Я ищу теперь маленькую квартирку для себя с детьми, — сказала она. — У него очень тяжелый характер и нам лучше разъехаться. Он будет приходить два раза в неделю к детям, а по воскресеньям дети будут у него.

Я не имела никакого понятия тогда об отношениях, которые существовали между ними и не знала, что Людмила Николаевна была его гражданской женой.

В самых первых числах августа я уже окончательно ликвидировала свои дела в Колпино и поселилась в Петербурге и тут передо мной встал жгучий вопрос о приискании работы. Прежде всего, конечно, я должна была подумать о врачебной деятельности, теоретической и практической, и я обратилась к профессору Манасеину, редактору газеты „Врач“. Он предложил мне писать рефераты и снабдил книгами. Кроме того, он посоветовал мне заняться собиранием иностранной литературы для докторантов, пишущих диссертации, но не знающих иностранных языков. Он обещал напечатать обо мне соответствующее объявление в своей газете.

Писание рефератов давало очень небольшой заработок и, конечно, это не могло обеспечить существование моей семьи, поэтому я должна была приискать еще что-

нибудь другое. Многие из моих подруг занимали места думских врачей и я тоже попробовала подать прошение в думу, но оказалось, что я была 101-й кандидаткой и, следовательно, у меня почти не было шансов получить такое место. В больницах я могла быть только нештатным врачем и без жалованья, а мне надо было иметь заработок во что бы то ни стало. На частную практику я, конечно, не могла рассчитывать. Оставались только врачи, которые могли явиться ко мне по объявлению Манасеина. Действительно, несколько человек пришло ко мне. Почти все это были земские врачи, приехавшие из какой-нибудь глухой провинции, не знавшие языков и для них-то я читала английские и немецкие медицинские журналы и делала из них выписки. Эта работа тоже оплачивалась довольно скудно, а между тем мои денежные средства истощались, несмотря на самую строгую экономию. Жить было очень трудно и порой меня одолевали сомнения, хорошо ли я сделала, сжигая свои корабли. Ведь у меня было четверо детей и я должна была сознаться самой себе, что поступила опрометчиво. Борьба за существование становилась все труднее и труднее.

Людмила Николаевна посетила меня, сообщила мне свой новый адрес и взяла с меня слово, что я буду у нее. Но я долго не могла собраться, так как настроение у меня было очень подавленное и мне никого не хотелось видеть. Когда я, наконец, пришла к ней, то случайно встретила у нее Николая Константиновича. С того памятного дня в Любани мы с ним не встречались и мне показалось, что он обрадовался, увидев меня (но, может быть, мне только так показалось?), во всяком случае, он был очень любезен и когда я собралась уходить, то он пошел меня провожать. Дорогой он спрашивал меня, что я теперь делаю, как я устроилась, но, разумеется, я ничего не говорила о своих затруднениях и только сказала,

что занимаюсь теперь с докторами и пишу рефераты во „Враче“. Прощаясь, я пригласила его заходить ко мне, а он в свою очередь выразил надежду, что я не откажусь посетить его келью в Пале-Рояле.—„Я живу теперь отшельником“,—сказал он, улыбаясь.

Однако, все-таки прошло не мало времени прежде, чем я решилась на это посещение. Он заходил ко мне, но не застал меня дома и оставил карточку. И вот как-то, когда я проходила по Пушкинской, где жила одна из моих Колпинских пациенток, которую я изредка навещала, я вдруг почувствовала сильное желание зайти в Пале-Рояль и нанести визит Николаю Константиновичу. Отчего же бы мне не сделать этого? Ведь он же приглашал меня! Посмотрим, какая у него келья,—говорила я себе.

Я поднялась по лестнице, прошла в коридор и отыскала его номер. Ключ был вложен изнутри в замок, следовательно, он был дома. Я постучала.

Дверь открылась и на пороге, вместо Николая Константиновича, я увидела какую-то даму, довольно пожилую и полную, но еще очень красивую, с книжкой в руке и в очках, которые она сдвинула на лоб, когда пошла открывать дверь. Одета она была без всяких претензий на моду и красоту, в широкой голубой фланелевой кофте и в маленькой простой шляпке-капот на голове.

— Войдите,—сказала она мне.—Вы пришли к Николаю Константиновичу? Он уехал в типографию, но должен скоро вернуться.

Она пригласила меня сесть и сама села в кресло, которое, очевидно, занимала перед моим приходом. Она не назвала мне себя и я не сказала ей, кто я такая, но между нами скоро завязался разговор. В руках у нее был последний номер „Северного Вестника“ и мы как-то невольно заговорили о нем. Не сомневаясь почему-то, что я интересуюсь современной литературой, она спросила

меня, видела ли я уже этот номер. Оказалось, что я его еще не видала. Тогда она заговорила со мной об этом журнале и его сотрудниках и из ее разговора я заключила, что она очень хорошо знакома с современной литературой и вообще литературно образованная женщина. „Должно быть какая-нибудь писательница“, подумала я, но все же почему-то не решилась спросить ее фамилию.

Так мы проболтали до прихода Николая Константиновича. Он вошел и, увидев меня, как-то заметно смутился, но не подумал познакомить нас друг с другом, а, второпях поздоровавшись со мной, быстро заговорил с этой дамой о типографских делах. Мои подозрения, что это какая-нибудь писательница и вообще литературная дама, укрепились и я, почувствовав себя лишней, поспешила уйти. Николай Константинович не удерживал меня и, мне казалось, даже был доволен, что я ухожу, а я ушла очень смущенная и недовольная собою за свой неуместный визит.

Потом я узнала, что эта дама, которую я приняла за писательницу, была женой знаменитого виолончелиста и директора консерватории Давыдова, Александра Аркадьевна. В то время она еще не имела никакого касательства к литературе, кроме случайного знакомства с Евреиновой, редакторшей „Северного Вестника“, с которой она жила на одной лестнице. Александра Аркадьевна, очень интересовавшаяся литературой, с удовольствием приняла предложенное ей Евреиновой место секретаря редакции, познакомилась со всеми сотрудниками „Северного Вестника“ и наиболее видными литераторами. Но всего ближе она сошлась с Николаем Константиновичем и часто навещала его, когда он переехал в Петербург. Это была выдающаяся женщина, сыгравшая большую роль в русской журналистике. Дальше я расскажу о ней подробнее, так как судьба свела нас с нею очень близко.

Между тем, мое материальное положение становилось все затруднительнее и необходимость приискания заработка давала себя чувствовать все настоятельнее. И вот, однажды, в одном знакомом доме я встретила молодого человека, который был театральным рецензентом какой-то второстепенной петербургской газеты. Он сообщал разные новости из газетного мира и, между прочим, рассказал, что князь Мещерский, издатель еженедельной газеты „Гражданин“ превратил ее теперь в ежедневную газету большого формата с ежемесячными литературными приложениями переводных романов.

— Кто делает эти переводы для „Гражданина“?— спросила я этого молодого человека.

— Да разные лица, между прочим, жена писателя Шелгунова. Кажется, там нетрудно получить перевод, как я слышал. Если бы я хорошо владел каким-нибудь иностранным языком, то предложил бы себя.

Этот разговор запал мне в голову. Я ведь знаю языки, думала я, но, разумеется, я никогда не решусь итти просить переводную работу в какой-нибудь крупный литературный орган, и не буду стараться воспользоваться для получения такой работы протекцией какого-нибудь знакомого литератора. Не обратиться ли мне в „Гражданин“? Может быть, там я могу получить перевод без всякой рекомендации? Я решила попытать счастья, и на следующий же день утром отправилась в редакцию этой газеты.

В первой большой комнате сидел какой-то молодой человек в военной казацкой форме; это был секретарь редакции. Я сказала ему, что желаю говорить с редактором относительно переводной работы. Он предложил мне пройти в следующую комнату и там я увидела какого-то полного высокого господина, очень некрасивого, с прыщеватым лицом, сидевшего за письменным столом.

В полной уверенности, что это князь Мещерский, я сказала ему, что желала бы получить переводную работу.

— У нас нет ни одной свободной книги в данный момент. Но если вы знакомы с иностранной прессой, то могли бы делать выборки политических известий из иностранных газет и переводить их. Знакомы ли вы с такой работой?—спросил он.

— Нет, — ответила я. — Но я думаю, что научиться этому нетрудно.

— Но редакция не может заниматься обучением, это не школа. Нам нужны опытные работники.

Разумеется, после таких слов мне больше ничего не оставалось, как удалиться, но когда я уходила, то этот господин, которого я приняла за князя Мещерского, сказал мне: „Оставьте на всякий случай ваш адрес секретарю".

Я так и сделала и печальная ушла из редакции, не зная, что бы еще предпринять. Но на другой день утром мне принесли из редакции желтый конверт, в котором заключалось приглашение явиться в редакцию для переговоров в 11 часов. Конечно, я тотчас же отправилась.

Меня принял тот же самый прыщавый господин и я узнала от секретаря, что это был не князь Мещерский, а его помощник, граф Кутузов. Он сказал мне, что князь Мещерский предлагает мне место переводчицы в иностранном отделе. Я должна буду ежедневно просматривать утренние и вечерние газеты, переводить и компилировать все иностранные политические известия и статьи.

— Какие же ваши условия?—спросил он меня.

Я совершенно не имела понятия о том, как оплачивается литературная работа. Моя работа во „Враче" оплачивалась минимально и в первую минуту у меня мелькнула мысль спросить пятьдесят рублей в месяц, но, к счастью, я удержалась. Ведь я даже не знала, какая это будет работа.

— Я вам совершенно откровенно сказала, что никогда не служила ни в какой редакции и с такой работой совсем незнакома, поэтому не считаю возможным назначить цену сама. Скажите вы, что вы намерены платить и я тогда соображу, приемлема ли такая плата для меня или нет?—ответила я.

— Князь предлагает вам 80 рублей в месяц,—сказал граф Кутузов.

Я сделала вид, что размышляю, хотя сердце мое радостно билось и затем важно проговорила:

— Для начала я согласна, принимая во внимание, что я новичок в этом деле.

— В таком случае, принимайтесь сейчас же за работу и приготовьте отдел иностранной политики для завтрашнего номера. Вот там лежит сегодняшняя почта, просмотрите ее и сделайте выборки.

Он указал мне на соседнюю комнату и прибавил:

— Это комната будет в вашем распоряжении, там сидит только помощник заведующего хроникой и никто вам не будет мешать.

Я несколько растерялась. Ведь мне даже не дали опомниться! Садись и берись за работу, о которой ты даже понятия не имела раньше! Но во мне вдруг проснулась прежняя отвага и я решительно уселась за стол и принялась разбирать пачку лежавших на нем иностранных газет. Тут были французские, немецкие, английские и итальянские газеты. Я очень мало интересовалась иностранной политикой до сих пор и теперь старалась припомнить, какие существуют политические партии заграницей и что я о них слышала или читала. Я вспомнила, что некоторые из этих газет, лежавших передо мной на столе, получались на Ашур-адэ и одни из них пользовались симпатиями нашего передового кружка, а другие нет и решила руководствоваться пока этими взглядами.

Я отобрала эти газеты и начала их просматривать, прочла передовые статьи и парламентские отчеты. В германском рейхстаге происходили жаркие дебаты по вопросам колониальной политики. Это меня заинтересовало.

— Я думаю, что можно сделать из этого маленькое извлечение. Попробуем!

Я взяла листок бумаги и принялась писать. Через полчаса в комнату вошел граф Кутузов и спросил меня:

— Что же вы нашли в газетах? — спросил он.

Я ответила и показала ему написанное мной.

— Хорошо, — сказал он, — но обратите внимание на болгарский вопрос. На престол Болгарии посадили принца Фердинанда Кобургского, вопреки желаниям государя императора. Поэтому нам важно узнать все, что там делается и что говорится по этому поводу в иностранной печати.

Я тотчас же углубилась в чтение статей и телеграмм о Болгарии. Мне было в высокой степени безразлично, кто сидит на болгарском престоле и я никак не могла заставить себя интересоваться этим, но я добросовестно прочла все сообщения о Болгарии и сделала выборки, которые казались мне наиболее интересными. Я показала, что̀ написала Кутузову и когда он одобрил, то я спросила его, надо ли написать что-нибудь еще?

— На сегодня довольно, — сказал он, позвонил мальчика рассыльного и отправил написанные листки в типографию, которая была в этом же доме.

— Не забудьте, что вы должны притти сегодня вечером просмотреть вечернюю почту и написать строк пятьдесят последних известий, преимущественно из телеграмм, — сказал он мне на прощание.

В первой комнате или приемной, когда я проходила через нее, меня встретил секретарь и очень любезно поздравил меня с поступлением на службу. Он представил

мне своего товарища, молодого человека, князя Голицына, литературный псевдоним которого был „Муравлин“. Его романы и повести печатались в „Живописном Обозрении“ и в „Деле“, а теперь он будет писать маленькие статейки в „Гражданине“, пояснил мне секретарь Деянов.

— Очень приятно, что князь Мещерский победил, наконец, свое предубеждение против женщин и пригласил вас в редакцию, — сказал мне Голицын.

— Это вышло случайно, — засмеялся Деянов, обращаясь ко мне. — Ваш предшественник, переводчик Вацлик, запил и третий день не является на службу. Наш князь взбесился и сказал мне: „У вас должны быть адреса каких-нибудь переводчиц, пошлите за которой-нибудь из них, женщины будут аккуратнее; они не такие пьяницы, как мужчины“. Я вспомнил о вас и послал к вам.

Я поблагодарила его. Как я убедилась потом, Деянов, вообще, был хороший парень, добрый товарищ, готовый оказать услугу каждому. У меня сохранились с ним самые дружеские отношения в течение всей моей службы в „Гражданине“.

— Ну, первый день сошел благополучно, — сказала я себе, выйдя на улицу. Но я не обманывала себя: работа была трудная для такого новичка, каким была я, и очень утомительная. Отдыха не было даже в воскресенье. Однако, я ориентировалась гораздо скорей, чем ожидала и довольно основательно ознакомилась со всеми изгибами европейской политики. Я уже стала интересоваться ею, и изучила борьбу партий в различных странах.

Работа эта могла бы удовлетворить меня, если бы... да, если бы это не был „Гражданин“, в котором мне приходилось работать!

Я знала, какое отношение существует в либеральных кругах к этой газете и князю Мещерскому, который был

представителем самого ультра-реакционного направления. И наружность у него была отталкивающая. Но он был другом Александра III, который прислушивался к его мнениям и советам. Институт земских начальников всецело обязан своим утверждением Мещерскому, который был его горячим защитником. Деянов показывал мне записки Мещерского для царя, делавшего на полях свои замечания, очень лестные для князя. Кроме того, царь подарил ему свой портрет с такой же собственноручной подписью. Понятно, что министры считали нужным поддерживать связь с Мещерским и я видела в редакции „Гражданина“ Победоносцева, Витте, Тертия Филиппова, которого называли „Епитропом гроба господня“, т.-е. защитником, и еще многих титулованных лиц, высасывающих соки из бедной России. Должна сознаться, что всех их я ненавидела и все они были мне противны с Мещерским во главе, пороки которого были хорошо известны всем. Но к своим сослуживцам я относилась симпатично и они меня любили и уважали. Все это были такие же несчастные, как и я, которых судьба столкнула вместе в такой несимпатичной обстановке.

Любопытнее всего было отношение князя Мещерского ко мне. Он никогда не разговаривал со мной и только ограничивался кивком головы, проходя мимо, но не вмешивался в мою работу и не требовал, чтобы я подлаживалась к его взглядам. Отдел иностранной политики, который был передан мне, находился вне его компетенции и свои идеи он пропагандировал в своем „Дневнике“. Деянов говорил мне, что меня он ценит, как хорошую работницу и это он доказывал тем, что каждый месяц прибавлял мне жалованье, хотя в то же время наваливал на меня все новые и новые работы, научные фельетоны, переводы иностранных корреспонденций и т. п. Он ненавидел курсисток и мог писать

про них всякий вздор, но с тех пор, как я поступила в редакцию, он вдруг стал выхваливать женские медицинские курсы.

Мои сослуживцы смеялись и поздравляли меня с тем, что я вызвала такой переворот в его косных взглядах. Пожалуй, вы его обратите в либерала, говорил мне один из них. Но одно было хорошо, что я эмансипировалась, завоевала себе право не сидеть в редакции, а мне приносили газеты на дом и потом в назначенный час рассыльный из типографии приходил за готовой работой.

X

Я могла бы чувствовать себя счастливой; я имела определенный хороший заработок, научилась работать, и больше не испытывала мучительной заботы о завтрашнем дне. Но, обеспечивая существование семьи, я не обрела душевного спокойствия и удовлетворения.

Из своих кратких встреч с литераторами, разговоров и чтения полемических статей я знала, как нетерпимо относится тот литературный круг, к которому я стремилась всей душой, к противоположным взглядам. Быть сотрудником „Нового Времени", печататься у Суворина считалось предосудительным. Как же должны были эти люди отнестись ко мне, после того, как я поступила в „Гражданин"? Теперь я стала отщепенцем, заклеймила себя и лишила себя права бывать в их обществе.

Такие мысли не давали мне покоя и я никуда не ходила, боясь встретиться с кем-нибудь из знакомых литераторов. Иногда я старалась успокоить себя тем, что Л. П. Шелгунова тоже делает переводы для „Гражданина". Но сейчас же я сама возражала себе, что Шелгунова не сидит, как я, в редакции „Гражданина" и защитой для нее служит имя ее мужа, такого глубокоуважаемого человека и писателя. А я? Кто я и что я такое? Я чуждый элемент в этом кругу и кто же будет моей защитой?..

Однажды я возвращалась домой с работы, усталая и печальная. На душе у меня было как-то особенно тоскливо.

И вдруг я встретила Николая Константиновича. Это было так неожиданно, что я даже вздрогнула.

— Что это вы пропали? — спросил он меня. — Я спрашивал Людмилу Николаевну, но она сказала мне, что тоже давно вас не видела. Я заходил к вам, но мне заявили у вас, что раньше одиннадцати часов вы никогда не бываете дома. Что это значит?

— Я очень занята... работаю, — отвечала я с усилием.

— Такая большая практика у вас? Или это ваши доктора так завладели вами?

„Он ничего не знает, — подумала я. — Надо все сказать ему и сразу отрубить..."

В это время мы проходили мимо Пушкинской.

— Знаете что, — вдруг сказал он, — пойдем ко мне чай пить. Я выходил именно за тем, чтобы купить булок у Филиппова и теперь иду домой, чтобы напиться чаю. Разделите мое одиночество. Сайки горячие и у меня есть сыр и даже варенье.

— Ну, от такого соблазнительного угощения трудно отказаться, — сказала я и мы повернули на Пушкинскую.

Как только мы пришли, он тотчас же начал хозяйничать, зажег спиртовку, поставил чайник и начал на бумажках раскладывать угощение. Он был как-то особенно оживлен и весел, а я сидела, точно приговоренная к смерти, думая о том, как изменится его обращение, лишь только он узнает все. Между прочим, он сказал мне, что обо мне справлялся Глеб Иванович.

— Я хочу привести его к вам, — прибавил он.

— Он чудный, — сказала я.

— Да, чудный. Этим одним словом вы прекрасно охарактеризовали его... Ну, а теперь рассказывайте о себе.

— Я не могу рассказать ничего хорошего... и мне трудно говорить о себе, — прошептала я, но, сделав над

собой усилие, все-таки рассказала все, открыла ему свое душевное состояние.

Я боялась взглянуть на него и сидела, опустив голову. Несколько минут он молча смотрел на меня, потом вдруг подошел ко мне, обнял меня и проговорил с каким-то особенным чувством: „Бедная вы моя!..“

Я не выдержала и зарыдала. Долгое нервное напряжение вылилось в слезах. Он гладил меня по голове и старался успокоить, точно малого ребенка.

— Ну, теперь выпейте чаю, не даром же я трудился! — сказал он, когда я немного успокоилась. — Потом поговорим разумно. Милый друг (он первый назвал меня таким именем, которое впоследствии всегда употреблял в обращении ко мне и в письмах), не надо создавать самому себе мучений. Вам должно быть достаточно сознания, что вы поступаете правильно, никому не причиняете зла и не кривите душой.

Он стал меня расспрашивать о редакции, о Мещерском, которого никогда не видал и от души смеялся над некоторыми моими рассказами.

— И вечером вы всегда сидите одна в редакции? — спросил он.

— Всегда, — отвечала я. — Я просматриваю газеты и, кончив свою работу, ухожу домой.

Я ушла от него совершенно успокоенная. Сколько душевной тонкости и теплоты было в этом человеке, казавшемся подчас таким неприступным, суровым, даже черствым! С этой минуты между нами возникла крепкая и тесная дружба.

— Ждите моего визита в редакцию, — сказал он, прощаясь. — Хочу посмотреть, в какой обстановке вы работаете.

И, действительно, дня через два, когда я сидела, погруженная в чтение газет, вдруг входят в комнату двое:

Николай Константинович и Глеб Иванович. Они подсели к моему столу, и Николай Константинович тотчас же занялся газетами, а Глеб Иванович испуганно озирался кругом.

— Ну, кончайте скорее вашу работу, — сказал мне Николай Константинович. — А потом мы пойдем вместе ужинать к Палкину. Я это обещал Глебу Ивановичу.

Как раз в этот момент послышались шаги в соседней комнате и в дверях показался Мещерский. Он кивнул мне головой, поглядел на моих посетителей и удалился. Зачем он приходил, я так и не узнала. Может быть, ему сказали, что у меня гости и он поинтересовался взглянуть, кто это такие. Он мог узнать их обоих по портретам, но он не спросил меня ни о чем.

Прошла зима. Я была страшно занята и попрежнему почти нигде не показывалась, хотя я уже знала, что мне нечего бояться встреч с литераторами из того круга, во главе которого стоял Михайловский. Но я все же не могла преодолеть свою застенчивость, так как мое прежнее воспитание и взгляды все еще сохраняли надо мною силу. Но я тщательно скрывала это от своего друга.

Мы видались с ним довольно часто. Несколько раз он приводил ко мне пить чай Глеба Ивановича, который обычно садился против меня и пристально смотрел на меня своими „прекрасными скорбными глазами“, как называл их Николай Константинович. Мне было неловко, а Николай Константинович добродушно подсмеивался.

Я избегала бывать у него, когда могла встретить кого-нибудь из его литературных друзей и в особенности дам, которые льнули к нему. Мы условились с ним, что если у него был совершенно свободный вечер, который он желал провести со мной, то он посылал мне

наверх с швейцаром редакции конверт, в котором лежал лист почтовой бумаги с одной только надписью: „Караванная“, это означало, что он ждет меня на Караванной (редакция находилась на углу Караванной и Итальянской) и я должна торопиться кончать работу поскорее. Как только я выходила из подъезда, который был на Итальянской, и поворачивала за угол, то уже издали видела его, медленно идущего по улице. Тогда он увлекал меня в какой-нибудь ресторан ужинать, но чаще звал меня к себе чай пить, говоря, что он приготовил для меня угощение,—мои любимые конфекты. Эти вечера являются самым светлым воспоминанием в моей жизни, и все, что было потом мучительного и тяжелого, исчезает в их мягком сиянии. Он всегда был весел и разговорчив в такие дни, шутил и смеялся. Я поставила себе за правило никогда ни о чем не расспрашивать его, но он сам рассказывал мне все, и хорошее и дурное, что случалось с ним, даже такие свои поступки, которых сам потом стыдился. Он сказал мне раз, что очень ценит мою сдержанность.

— Я не люблю, когда залезают мне в душу, копаются в ней. Но моя душа перед вами, как на ладони, скрытого в ней нет ничего, — говорил он. — Так хорошо иметь человека, к которому можно итти с усталой душой.

Вероятно, он сам искренно думал тогда, что это было так.

Он рассказал мне о своей прежней жизни, о своем неудачном браке, о своих увлечениях и разочарованиях. Его первая жена была старше его, прекрасная музыкантша, но некрасивая и весьма грубая женщина. Как это ни странно, так как он был красив, очень интересен и талантлив, но она первая изменила ему и оставила его тогда, когда он уехал за-границу на венскую выставку. С тех пор они не видались, но он не делал никаких попыток к сближению, так же, как и она.

— Только когда я познакомился с Людмилой Николаевной, я обратился к ней с просьбой о разводе, — говорил он, — но она отказала. „Я до самой смерти хочу носить вашу фамилию“, написала она мне. Так как победить ее упрямство было невозможно, то я предложил Людмиле Николаевне гражданский брак. Она согласилась, и мы поселились вместе. Я был неизмеримо счастлив, когда у меня родились два сына, но вскоре после их рождения наступил разлад. Я не хочу вдаваться в подробности, ворошить то, что должно быть погребено на дне души, не хочу анализировать наших отношений и решать вопрос, кто тут виноват, я или она. Вернее: мы оба, мы не подходили друг другу. И вот, измученный своей неудачной семейной жизнью, я уехал в Москву, по совету своего врача, чтобы привести в порядок свою нервную систему и поразвлечься. Там я встретил одну молодую девушку, курсистку, в которую сразу влюбился. Я вернулся в Петербург, весь охваченный новым чувством. Я опять написал своей жене, прося ее дать мне развод, и снова получил отказ в довольно насмешливой форме. „Вы видите, писала она, как я была права, не дав вам тогда развода, чтобы вы могли жениться на Людмиле Николаевне. Теперь вам пришлось бы обращаться к ней с новой просьбой о разводе. И сколько еще раз вы захотите разводиться?“

Николай Константинович сам смеялся, рассказывая мне это. Потом, помолчав немного, он прибавил:

— Мне казалось, что та девушка любила меня и, может быть, я был бы с ней счастлив. Но, очевидно, ее чувство ко мне было недостаточно сильно и она не соглашалась на нелегальное сожительство. Как раз в это время меня выслали из Петербурга за какую-то провинность,—что-то я сказал на балу у курсисток, — и я просто с ума сходил от бессильной злобы на судьбу. За

эту девушку сватался один молодой ученый, человек состоятельный и сделавший потом блестящую карьеру. Она была почти его невестой, когда я познакомился с нею в Москве. Я получил от нее письмо, в котором она меня спрашивала, выходить ли ей замуж. „Выходите!“ написал я ей. Она вышла и с тех пор мы с ней не виделись. Она, вероятно, избегает встречи со мной, так же, как и я. Зачем растравлять старые раны?.. Видите, как эта сторона жизни складывается у меня неудачно. Видно, судьба мне оставаться одиноким.

— Я думаю, вы не горюете об этом, — заметила я. — Вы слишком любили свою свободу и притом, мне кажется, вы слишком самодовлеющий человек и вряд ли могли бы ужиться с какой-бы то ни было женщиной.

— Вы так думаете? — сказал он.

— Да, — отвечала я.

Он рассказал мне также, что он выходит из редакции „Северного Вестника“. С Евреиновой он не может ужиться. Сказав это, он рассмеялся, вспомнив мои слова о его неуживчивости с женщинами.

— Но она не моя супруга, к счастью, — сказал он, — а просто самомненная и пренеприятная ученая баба.

— А вы самодержец! — возразила я.

— В литературном деле необходимо самодержавие. Нельзя допускать разноголосицу.

— Отчего же вы нападаете на нее? Ведь она хочет быть самодержавной в своем журнале?

— Она ничего не понимает, — сердито ответил он.

Я поняла, что он недоволен и постаралась переменить разговор.

Первые два года моей жизни в Петербурге не ознаменовались ничем особенным, кроме рождения мною пятого

ребенка. Это был мальчик, которого я назвала Львом. Теперь, имея хороший заработок, я не боялась, что мне не удастся прокормить такую большую семью и маленький Лев был для меня настоящим подарком судьбы. Старшие дети тоже много возились с ним.

С мужем у меня сохранились прежние, хорошие дружеские отношения. Он не вмешивался в мою жизнь, не спрашивал меня ни о чем, и мне кажется был доволен, что я оставляла его в покое, не старалась заставить его выйти из его инертного состояния, стряхнуть свою хохлацкую лень и поискать другую службу. Собаки, охота, зимний сад, который он у себя устроил, заводская работа и клуб — все это вполне удовлетворяло его. Он аккуратно посещал нас каждую неделю. Дети его очень любили и всегда чрезвычайно радовались его приезду. Мальчики ездили к нему на праздники со своими любимыми товарищами, Колей и Марком Михайловскими и тогда веселью не было конца.

На третий год летом я взяла отпуск и поехала со старшими детьми в Асхабад, где жила моя сестра Катя с мужем. По дороге я остановилась в Баку, подивилась на перемены, которые произошли в этом городе и повидалась с некоторыми оставшимися там старыми знакомыми, между прочим, и с моим старым другом лейтенантом З. Мы не видались с ним больше двенадцати лет и я ничего о нем не знала, так как мы не переписывались. Но оказалось, что он все-таки следил за моей жизнью и знал многое обо мне.

Он очень обрадовался, увидев меня, и наша встреча была такая же сердечная, как расставание. Я услышала от него то же самое слово „милая“, которое он сказа мне, когда прощался со мной на Ашур-адэ. У него былл

уже большая семья, взрослая дочь и два сына, и жена его ожидала теперь четвертого ребенка. Он сказал мне, что ему живется тяжело, вид у него был действительно очень понурый.

— А вы, кажется, счастливы?—сказал он, вглядываясь в меня.—Я вижу это по вашим глазам.

— Да,—отвечала я, глядя на него. И мне вдруг стало его необыкновенно жаль. Вспомнилось все прежнее, былое, и так больно, больно защемило сердце! Он снова взял мои руки и крепко поцеловал их. Это была наша последняя встреча в жизни.

Николай Константинович проводил это лето со своими сыновьями на станции Клин, под Москвой, на даче своего приятеля профессора Соболевского, редактора „Русских Ведомостей". Он условился со мной, что на обратном пути из Асхабада я телеграфирую ему и он выйдет в Клину на станцию, чтобы повидаться со мной. Я так и сделала и на платформе в Клину увидела его вместе с мальчиками.

— Я еду с этим же поездом в Петербург, — сказал он.—В вашем отделении есть место?

— Да, есть, — отвечала я.

Коля и Марк очень довольные, что увидели своих любимых товарищей, тотчас же устроились с ними вместе в купэ.

— Вы не знаете великой новости? — сказал мне Николай Константинович, когда мы остались с ним вдвоем на платформе. — Людмила Николаевна вышла замуж и уехала с мужем на Урал. Коля и Марк будут жить со мной. Вы понимаете, как я счастлив.

Да, я это понимала и искренно обрадовалась, как за него, так и за нее. Мужа Людмилы Николаевны, горного инженера, я хорошо знала. Раньше он служил в Колпино

и даже жил вместе с моим мужем, когда я уехала. Это был очень хороший человек, добрый и благородный, притом же чрезвычайно предприимчивый. С ним она, конечно, не могла нуждаться ни в чем.

— Мне теперь надо устраиваться по-семейному, найти квартиру, завести хозяйство и тому подобное, — сказал он. — Я уже написал кое-кому из знакомых дам, чтобы они помогли мне в этом. На вас, милый друг, я не могу рассчитывать, потому что вы слишком заняты.

Действительно, дамы помогли ему и он устроился очень быстро. Когда я через несколько дней зашла к нему, то нашла уже его квартиру в полном порядке. У него я застала Александру Аркадьевну Давыдову и мы с ней возобновили знакомство. Мы вспомнили нашу первую встречу в Пале-Рояле, в номере у Николая Константиновича, и обе расхохотались.

— Вы даже нас не представили друг другу!—сказала она ему.

— Я был уверен, что вы уже знакомы. Вы разговаривали, как старые знакомые,—оправдывался он.

Александра Аркадьевна меня очень интересовала. Хотя я ни разу не видела ее после той встречи, которая произошла больше двух лет тому назад, но я много слышала о ней последние годы, слышала и о ее близкой дружбе с Николаем Константиновичем, но так как он сам никогда не упоминал ее имени в разговоре со мной, то и я не спрашивала его о ней. Впрочем, я рада была, что случай свел нас.

От Николая Константиновича мы вышли вместе и я по ее просьбе проводила ее домой и зашла к ней пить чай. Она меня чрезвычайно интересовала. Что-то в ней привлекало меня и одновременно отталкивало. Я не могла тогда определить, что это такое, но ушла я от нее все-таки совершенно очарованная ею.

Это была незаурядная женщина, редкого ума и кипучей энергии. Она жаждала деятельности, искала ее везде. Ее муж, недавно умерший, оставил ей большой капитал и она могла бы на проценты с него жить так, как жила раньше, но жизнь светской дамы: приемы, выезды, визиты, не удовлетворяла ее. Будучи женой великого музыканта, она, однако, не увлекалась музыкой и она тоже не давала ей того духовного удовлетворения, которое она так искала. Ей так хотелось делать что-нибудь большое, хорошее, но она не знала что̀. С мужем она не была счастлива; они как-то мало понимали друг друга и он ей часто изменял, даже хотел развестись с ней и жениться на какой-то молоденькой ученице консерватории. Но неожиданная смерть пресекла его поиски нового счастья.

Все это я узнала в тот вечер, который провела у нее.

— Я все ищу чего-то, но не знаю чего, — говорила она мне. — Всего больше меня привлекает литература. Мне кажется, если бы я могла быть литератором, могла писать, то я бы нашла то, что мне нужно. Но у меня нет таланта и образование у меня самое поверхностное, светское. А будь у меня талант, чего бы я кажется ни написала!..

Свою любовь к литературе и притом совершенно бескорыстную она доказала впоследствии, основав журнал „Мир Божий“ и вся уйдя в него, сделавшись его центром, хотя она сама ничего не писала, но успехом своим журнал был всецело обязан ей, ее уменью находить сотрудников и выбирать статьи. Никогда ни одна строчка в журнале не была напечатана без ее ведома и одобрения. Она даже сама читала корректуры и входила во все мелочи журнальной работы.

Но, конечно, в этот первый вечер, который я провела с нею, о своих литературных планах она не говорила ничего. Она больше расспрашивала меня о том, как мне удалось устроиться и какая у меня работа. Она согласилась со мной, что без протекции устроиться трудно и похвалила мою смелость, когда я рассказала ей, как я поступила в „Гражданин“.

— Я всегда буду с благодарностью вспоминать эту редакцию, — сказала я. — Там я научилась работать и приобрела те знания, которых мне не хватало. В этом отношении я теперь хорошо вооружена.

При прощании она сказала мне:

— Мы должны часто видеться с вами и близко сойтись. Нас связывает дружба к одному и тому же человеку.

Я поняла, что она подразумевает Михайловского.

Мы, действительно, скоро подружились и я часто бывала у нее. Я познакомилась с ее дочерью, Лидией Карловной, вышедшей замуж за молодого ученого экономиста Туган-Барановского. „Лидуша“, как называла ее мать, обожавшая ее, была чрезвычайно милая, умная и способная женщина. Когда Александра Аркадьевна нашла, наконец, выход для своей энергии и основала журнал „Мир Божий“, то Лидуша сделалась ее деятельной помощницей и вместе со своим мужем работала в журнале.

Ее муж, Михаил Иванович Туган-Барановский, был очень талантливый ученый, но в житейских делах отличался какой-то особой—чисто детской наивностью. Тут всегда ему на помощь приходила Лидуша, которая выручала его, если он попадался впросак и своей тактичностью спасала положение. Она часто со смехом рассказывала нам разные забавные промахи своего мужа при нем самом и он только добродушно посмеивался.

Мои отношения с литературным кругом уже прочно установились и я приобрела близких друзей, часто навещавших меня. Конечно, Николай Константинович был среди них.

Весной 1891 года произошло событие, взволновавшее наш тесный литературный кружок. Николай Константинович был выслан из Петербурга. Это случилось после похорон писателя Н. В. Шелгунова, на которых произошла грандиозная демонстрация, устроенная студенческой молодежью. Собралось около тысячи человек и студенты хотели нести гроб на руках на Волково кладбище, но вмешалась полиция и стала вырывать гроб из рук студентов. Была такая жуткая минута, когда можно было опасаться, что гроб с покойником свалится на землю и произойдет рукопашная схватка. Николай Константинович, опасаясь серьезного и даже, может быть, кровопролитного столкновения, воспользовался своим огромным влиянием на учащуюся молодежь и, обратившись к студентам, попросил их поставить гроб на катафалк. Молодежь тотчас же повиновалась писателю, на которого смотрела, как на своего духовного вождя и спокойствие моментально восстановилось, гроб был водворен на место, но зато студенты похватали венки с красными лентами, которых было много и с пением понесли их за гробом. Хотя пение и несение венков были тоже воспрещены, но полиция больше не вмешивалась и грандиозная похоронная процессия благополучно дошла до кладбища. На другой день Николай Константинович получил уведомление из полиции, что он высылается из Петербурга и ему дается срок два дня для устройства своих дел и выбора места, где он намерен поселиться.

Он опять выбрал Любань, так как она находилась в Новгородской губернии и ближе к Петербургу.

В то время, когда Николай Константинович находился еще в редакции „Северного Вестника", туда явилась однажды баронесса Икскуль, изящная и красивая светская дама, первым мужем которой был посол при итальянском дворе, Глинка. Она принесла свой роман, написанный на французском языке и переведенный поэтом Плещеевым. Роман был принят и напечатан в журнале и это положило начало ее сближению с литературным кругом. У нее стали бывать все литераторы, представители передового направления и особенное внимание, как и следовало ожидать, она оказывала Николаю Константиновичу.

Но она поддерживала тесную связь и с другим кругом, была дружна с сестрой Скобелева, бывшей замужем за герцогом Лейхтенбергским и с министром внутренних дел Дурново, начальником тайной полиции Петровым и другими. Благодаря этому, она могла быть полезна также и своим друзьям литераторам, постоянно подвергавшимся преследованиям правительственной власти, административной ссылке и т. д. Она очень охотно пользовалась своей дружбой с сильными мира и, действительно, ей удавалось порой облегчить участь писателей, навлекших на себя неудовольствие власти. Поэтому, когда Николай Константинович подвергся каре после демонстрации на похоронах Шелгунова, она попробовала заступиться за него и говорила с Дурново.

— Вы должны быть благодарны Михайловскому, — сказала она. — Ведь могли бы произойти очень серьезные беспорядки, если бы он не вмешался. А возбужденная молодежь немедленно повиновалась ему.

— Да,—отвечал Дурново.—На этот раз он помог водворить порядок. Но он доказал еще раз, каким огромным влиянием он пользуется на эту легко возбудимую молодежь и что̀ может произойти, если он захочет употребить это влияние другим образом. Во всяком случае, он опасный человек.

Итак, на этот раз не удалось его отстоять и он должен был покинуть Петербург. Но так как была весна, то он не очень горевал.

— Я, как будто, отправляюсь на дачу, — сказал он мне.

Он высылался вместе с писателем Засодимским, который навлек на себя эту кару тем, что сказал речь на могиле Шелгунова. Они оба должны были к десяти часам явиться в полицию и оттуда отправиться на вокзал. Племянник, сыновья Николая Константиновича, а также жена Засодимского и кое-кто из ближайших друзей отправились на вокзал, чтобы проводить отъезжающих. Мы напрасно прождали целый час, поезд давно ушел, а никто из них не явился. Конечно, мы все разошлись очень встревоженные, но к вечеру дело разъяснилось. От Николая Константиновича было получено известие из Любани. Его и Засодимского посадили в карету с опущенными шторами и повезли в сопровождении жандармов. Они думали, что их везут на Николаевский вокзал, но путешествие это продолжалось слишком долго и им не позволили смотреть в окно, чтобы видеть, по каким улицам их везут. Так они ехали больше часа и в душу их стало закрадываться беспокойство. В щель шторы они увидали, что их везут уже за городом.

Наконец, карета остановилась. Их пригласили выйти. Они увидали, что их привезли на станцию Обухово и в ожидании поезда ввели в комнату, у дверей которой стоял жандарм. Тут они догадались, что власти боялись какой-нибудь демонстрации на вокзале во время проводов и потому повезли их окольными путями на железную дорогу.

„Все кончилось благополучно, — писал мне Николай Константинович. — Я поселился в маленьком домике, очевидно, бывшей сторожке. В первой большой комнате есть два окна и между ними я прибил осколок зеркала,

это — трюмо. В маленькой комнатке рядом, в одно окно, стоит дощатая кровать и маленький столик, а в первой комнате есть большой стол, деревянная скамья и стул. Там я устрою свой кабинет. Забыл сказать, что в этой же комнате есть лежанка. Как видите, я устроился вполне комфортабельно. Приезжайте, милый друг, посмотреть“.

В Любани жила в это время Софья Ермолаевна, жена Сергея Николаевича Кривенко, только что вернувшаяся из ссылки в Сибирь, вместе со своей маленькой дочкой, и еще не получившая разрешения жить в Петербурге, где находился ее муж. Николай Константинович был тогда очень дружен с Кривенко и я часто встречала у него Сергея Николаевича. Он был с ним на „ты“ и даже посвятил ему один том своих сочинений. Позднее эта дружба резко оборвалась из-за принципиальных разногласий в журнале и я боюсь решить, кто тут был виноват. Но в то время, о котором я пишу в эту минуту, дружба была очень тесной и даже нежной. Николай Константинович подсмеивался над необычайным добродушием и незлобивостью Сергея Николаевича и говорил про него: „Сереженька—это какой-то образ, сорвавшийся со стены“.

Софья Ермолаевна обнаружила большую заботливость о Николае Константиновиче. Она нашла для него этот домик не далеко от своей квартиры и, насколько возможно, постаралась получше устроить его. Стол он имел у нее и ему не нужно было ни о чем заботиться самому.

Я написала ему, когда приеду и он вышел встретить меня на вокзал вместе с Софьей Ермолаевной. Вместе со мной приехал и Глеб Иванович.

Приезжал к нему и Соболевский, уговоривший его на лето опять поехать в Клин с детьми. Николай Константинович не скучал, писал фельетоны для „Русских Ведомостей“ и статьи для „Русской Мысли“. Но, провожая меня на поезд, сказал мне:

— Как странно! Я ведь почти каждое лето уезжал из Петербурга и уезжал порой на все лето, а вот теперь, когда я знаю, что не могу вернуться в Петербург, что въезд мне туда запрещен, мне ужасно хочется поехать. И я завидую вам, что вы можете уезжать и приезжать, когда хотите. Вот человеческая психология! Если я знаю, что я могу выйти из комнаты, когда хочу, то я сижу в ней безвыходно, а если меня запрут, то мне непременно захочется выйти из нее...

Николай Константинович сказал мне, что он хотел бы издать небольшую книжку, сборник своих статей под названием „Литература и жизнь“ и в следующий свой приезд к нему я привезла с собой издателя Флорентия Федоровича Павленкова, который уже раньше издал шестой том его сочинений. С Павленковым мы были друзьями. Это был очень оригинальный человек, старый холостяк, идейный издатель. Он был раньше артиллеристом, кончил артиллерийскую академию и несколько лет был на военной службе. Но эта служба его не удовлетворяла и он вышел в отставку, решив истратить те небольшие деньги, которые у него были, на издание таких книг, которые он считал нужными и полезными, к их числу, конечно, принадлежали и сочинения передовых авторов, русских и иностранных. Первые же шаги его, в этом отношении, издание сочинений Писарева, навлекли на него административные взыскания и высылку. Но Павленков не унимался и продолжал свою деятельность, чисто идейную и совершенно лишенную всяких корыстных целей. Николай Константинович очень уважал Павленкова и как человека и как издателя.

Вообще Николая Константиновича часто навещали.

Летом он уехал в Клин, куда его звал Соболевский, но оставаться там не мог, Оказалось, что запрещение въезда в Петербург и Петербургскую губернию распространяется и на Москву и Московскую губернию. Вернулся он снова в свою маленькую сторожку и жизнь потекла попрежнему, но когда с приближением осени погода стала портиться, наступили пасмурные дни, то он писал мне, что его одолевает нетерпенье и он начинает хандрить.

— Неужели придется проводить зиму в изгнании? — писал он.

Но баронесса Икскуль уже вернулась в Петербург и возобновила свои хлопоты, на этот раз увенчавшиеся успехом.

XI

Как истинный журналист, Николай Константинович страдал от отсутствия постоянной и привычной журнальной деятельности после своего выхода из редакции „Северного Вестника". Писание фельетонов в „Русских Ведомостях" и случайные статьи в „Русской Мысли" не могли удовлетворить его. Глеб Иванович, очень любивший и понимавший его, говорил: „Ему нужен собственный журнал". Действительно, он должен был стать руководителем журнала, но такого журнала не было тогда. Я отлично видела, что он страдает от своего вынужденного бездействия. Впрочем, он не скрывал этого от меня, но говорил, что ни за что не хочет быть редактором подцензурного журнала. Однако, в конце-концов, он сделался редактором „Русского Богатства", которое было подцензурным, вступив в этот журнал сначала временно, только для того, чтобы поддержать его своим авторитетным именем, когда журнал перешел от Л. Оболенского к кружку бывших сотрудников „Отечественных Записок".

— Я временно работаю в нем и потому не порываю с „Русской Мыслью", — сказал он мне, сообщая эту новость. — Сереженька (Кривенко) просил меня об этом. Он убежден, что появление моих статей в декабре и январе создаст подписку, а то дела журнала очень плохи.

Но Николай Константинович постепенно втянулся в эту работу и стал душой журнала, примирившись поневоле с его подцензурностью. Благодаря ему „Русское Богатство" быстро пошло в гору и заняло первенствующее место в русской журналистике, продолжая традиции „Отечественных Записок".

В первое время журнал испытывал немалые финансовые затруднения, однако, это не смущало никого из ближайших сотрудников и друзей „Русского Богатства", твердо веривших в его успех. Все оказывали журналу посильную помощь и поддержку. Л. В. Кострова, бывшая секретарем журнала, и А. И. Иванчин-Писарев, управляющий делами журнала, не раз закладывали свои вещи, чтобы уплатить авторам за статьи, дорожа репутацией журнала и не желая допустить никаких разговоров о его несостоятельности и неплатеже сотрудникам. Помню, как мы, ближайшие друзья журнала, вскладчину приобрели стенные лампы и некоторые другие вещи для редакции, которая помещалась в маленькой скромной квартире во дворе, на Литейном, в двух комнатах, а третью занимала Л. В. Кострова с сестрой. Раз в неделю, по четвергам, сотрудники и вообще близкие люди собирались по вечерам в редакции на чашку чая и эти собрания, носившие, однако, вполне интимный характер, поддерживали связь между литераторами, и скоро приобрели большую известность и влияние в литературных кружках.

В редакции получались письма и статьи со всех концов России и Сибири и даже из за границы. Если кто-нибудь из провинциальных писателей приезжал в Петербург, то непременно появлялся в который-нибудь из четвергов в „Русское Богатство". Это был своего рода „литературный клуб", но, разумеется, не все были вхожи туда и для этого надо было обладать определенной репутацией передового общественного или литературного деятеля и быть знакомым кому-нибудь из членов этого круга. Но когда был основан Союз Писателей, то, хотя члены туда принимались по баллотировке и по рекомендации, однако, границы этого круга значительно расширились.

Между тем, одновременно с „Русским Богатством", занявшим место „Отечественных Записок" и постепенно превратившимся в один из наиболее влиятельных и распространенных органов печати, появился журнал, который в скором времени должен был сыграть очень видную роль в русской журналистике и по количеству подписчиков занять первое место. Это был „Мир Божий", основанный Александрой Аркадьевной Давыдовой.

После долгих исканий, она, наконец, нашла тот путь, который давал выход ее кипучей энергии. Но, не доверяя своим силам и, главное, своим знаниям, она решила остановиться на скромных начинаниях и основала журнал для юношества и самообразования. Любопытно, что многие из ее друзей литераторов и близких знакомых, с которыми она говорила об этом, отнеслись к ее планам, как к причуде светской дамы. Никто не верил в серьезность ее затеи. Так же поверхностно отнесся к этому и Николай Константинович, мнением которого она дорожила больше, чем мнением кого бы то ни было. Но на этот раз она была тверда и никакие пессимистические предсказания не могли сбить ее с позиции.

И вот в конце лета 1891 года она приехала с дачи ко мне и сказала:

— Сегодня приедет к вам Виктор Петрович Острогорский для окончательных переговоров со мной о журнале. Я решила основать журнал для юношества и так как я не доверяю себе в таком серьезном деле и не решаюсь брать на себя такую ответственность, то и решила пригласить Острогорского и предложить ему быть редактором. Я уже совещалась с ним об этом. Ведь это человек очень знающий, пользующийся большой популярностью, как педагог и профессор. Я думаю, что это будет удачный выбор для такого журнала.

Виктор Петрович явился и совещание между ними продолжалось около двух часов. Александра Аркадьевна очень внимательно слушала то, что говорил Острогорский, но, как оказалось потом, далеко не была согласна со всем. Однако, она не возражала ему, так как не чувствовала себя достаточно компетентной, чтобы противоречить ему или оспаривать его взгляды. Так или иначе, программа журнала была установлена, Виктор Петрович назвал тех лиц, которые, по его мнению, могли быть полезны журналу и, между прочим, предложил назвать его „Мир Божий". Это неудачное название оставалось до тех пор, пока, уже после его смерти, журнал не был переименован в „Современный Мир".

В январе 1892 года родился на свет „Мир Божий", и с тех пор стал аккуратно выходить первого числа каждого месяца. Но составление первого номера все-таки прошло не гладко и стоило Александре Аркадьевне не мало волнений и даже слез. Статьи, заказанные и принятые Виктором Петровичем и даже сданные в типографию, были окончательно забракованы Александрой Аркадьевной.

— Какой же это редактор? — восклицала она с отчаянием.—Разве можно печатать такие статьи? Лучше я откажусь от издания журнала.

Насилу ее друзьям и мне, принимавшим близкое участие в организации журнала, удалось ее успокоить и уговорить откровенно объясниться с Виктором Петровичем, сказать ему прямо, что выбранные им статьи никуда не годятся, что было вполне справедливо. Александра Аркадьевна так и сделала, но сделала это в более мягкой форме, а Виктор Петрович, с свойственным ему добродушием, не стал спорить и доказывать свои редакторские права, а покорился ее решению. Таким образом ни одна из статей, доставленных Виктором Петровичем,

не появилась в первом номере журнала, они были заменены другими по выбору самой Александры Аркадьевны.

Журнал был поставлен на рельсы и дальше уже двигался беспрепятственно. Александра Аркадьевна стала душой журнала, но, все еще не доверяя себе, постоянно искала себе помощников. Мы в шутку их называли „примадоннами". Но большею частью они не надолго задерживались на этом почетном посту. Александра Аркадьевна, убедившись в их непригодности для журнала, устраняла их и ее не останавливали ни громкая известность, ни ученая репутация некоторых из них. Она как-то интуитивно угадывала, какие люди могут быть нужны журналу. Только один, сделавшийся ее помощником, молодой журналист Ангел Иванович Богданович, сумел ее понять и оценить. Он так же был бескорыстно предан журналу и его интересы ставил выше всего, выше интересов даже собственной семьи. Не обладая мелочным самолюбием, он не находил для себя обидным подчиняться ей, когда видел, что она права и ее требования приносят пользу журналу. Он давал ей на просмотр свои собственные статьи, но никогда не стремился вытеснить ее из занимаемого ею первого места в журнале. Она прочитывала все рукописи, прежде чем отдать их в набор, и случалось порой, что Ангел Иванович жестоко спорил с нею, защищая свою точку зрения и стараясь доказать ей, что она неправа. Но у нее тоже не было ложного самолюбия и она, в конце-концов, соглашалась с ним, убедившись, что он был прав. Она частенько жаловалась нам на него и говорила:

— Какой он Ангел Иванович? Он просто Чорт Иванович!

Она была рада, когда он женился на племяннице писателя Николая Федоровича Анненского, члена редакции „Русского Богатства", и говорила нам, что он стал мягче после своей женитьбы и не так часто с нею ссорится.

Неудачное название журнала „Мир Божий", придуманное Виктором Петровичем, сразу же вызвало забавное недоразумение: на журнал подписались две монастырские общины, которые, по получении первых же номеров, тотчас же отослали их обратно с негодующим письмом по поводу того, что название журнала совершенно не соответствует его содержанию и вводит в заблуждение „благочестивых и нравственных людей". Не помню, какие такие статьи в этих номерах вызвали такое негодование в „благочестивой среде".

Виктор Петрович никогда не вмешивался в дела редакции. Журнал процветал и быстро развивался, превратившись из скромного журнала для юношества и самообразования в большой научно-литературный и политический орган, выдвинувшийся скоро на одно из первых мест в русской общественности. Виктор Петрович очень гордился этим успехом журнала, хотя все его участие ограничивалось лишь тем, что он подписывал к печати приносимые ему сверстанные листы. Но это было только вначале, а потом и это прекратилось, и Виктор Петрович часто даже не знал, какие статьи печатались в его журнале, но он с гордостью говорил: „Мой мир!" И до самого конца у него сохранились самые дружеские отношения с Александрой Аркадьевной и членами редакции.

Превращение журнала в большой научно-литературный и политический орган произошло по инициативе Ангела Ивановича Богдановича. Он настаивал на этом и долго убеждал Александру Аркадьевну, что это необходимо для преуспеяния и развития журнала. В конце-концов, уступая его настояниям и его доводам, она сняла с журнала надпись „Для юношества и самообразования". Мы смеялись и говорили, что журнал вырос и стал совершеннолетним. Он действительно вырос и, идя далее по этому пути, стал органом марксистов, потому что

Ангел Иванович был марксист и это направление было ему более близким. Марксистом был и Туган-Барановский и Струве и многие другие из ближайших сотрудников журнала.

Александра Аркадьевна чрезвычайно ценила Ангела Ивановича. Она видела его изумительную, самоотверженную преданность журналу и очень дорожила им. А он, в свою очередь, не позволял ей разбрасываться и требовал, чтобы она отдавала бы всю себя исключительно только журналу. У нее же, благодаря ее кипучей энергии и жажде деятельности, возникали все новые и новые планы. „Мир Божий" стал большим журналом и поэтому она решила, что надо создать новый журнал для детей и юношества. Она основала „Всходы", а когда передала их другому лицу, то приняла деятельное участие в журнале „Юный Читатель", основанном ее приятельницей Анной Яковлевной Острогорской-Малкиной, которая была до самой ее смерти одним из самых близких ей людей. Ее дух не мог успокоиться, и даже в своем последнем письме, написанном ею Николаю Константиновичу за несколько месяцев до собственной смерти, когда она уехала в Царское, подавленная горем, после смерти своей обожаемой Лидуши и желая уйти подальше от людей, она говорила о каких-то новых планах, о которых еще никто не знает. Никто и не узнал никогда, потому что смерть сомкнула ее уста.

Как высоко ценила Александра Аркадьевна Ангела Ивановича и его самоотверженную преданность журналу, каким полезным сотрудником она его считала, лучше всего показывает следующий случай:

Ангел Иванович, постоянно заботившийся об интересах журнала и искавший для него авторов, участие которых в редакции было бы особенно желательно, указал Александре Аркадьевне на профессора Милюкова, статьи которого, печатавшиеся в „Мире Божьем", имели

большой успех. Александра Аркадьевна ухватилась за эту мысль и Милюков был приглашен в редакцию.

— Я теперь спокойна за участь журнала, — говорила она нам,—когда два таких человека, как Ангел Иванович и Милюков будут вместе работать. Журнал же будет выходить под редакцией Милюкова.

Александра Аркадьевна уехала в Крым на два месяца, совершенно успокоенная и довольная. Однако, очень скоро после ее отъезда оказалось, что два медведя в одной берлоге ужиться не могут. Между Милюковым и Ангелом Ивановичем обнаружились коренные разногласия. Милюков хотел совершенно изменить физиономию журнала и принимал статьи, которые Ангел Иванович справедливо называл „кирпичами", могущими совершенно сгубить будущность журнала.

Словом, они не сходились во взглядах, и Милюков, как редактор, даже правил критические и публицистические статьи самого Ангела Ивановича, который, до его появления, был сам фактическим редактором журнала. Сговориться они не могли и Ангел Иванович, все-таки имея в виду будущность и успех журнала, решил уступить место Милюкову.

— Имя Милюкова важнее для журнала, чем мое, поэтому надо его сохранить, а так как вместе нам трудно оставаться, то я ухожу,—написал он Александре Аркадьевне в Крым.

Так думал Ангел Иванович, но не так думала Александра Аркадьевна. Она прислала длиннейшую телеграмму Ангелу Ивановичу, уведомляющую его о ее немедленном выезде из Крыма. Она просила его до ее возвращения не предпринимать никаких шагов. Ухода Ангела Ивановича из журнала она не допускает!

Она прервала свое пребывание в Крыму, прикатила в Петербург и быстро все наладила. Милюков остался

простым сотрудником журнала, каким был раньше и печатал в нем свои статьи, а ее помощником, как прежде, остался Ангел Иванович. Больше никаких недоразумений в журнале не возникло.

— Ангел Иванович полезнее для журнала, чем Милюков, который замуровал бы его своими „кирпичами",— говорила она потом.

Я проработала в этом журнале из книжки в книжку семнадцать лет, с самого первого года его существования и, так сказать, росла вместе с ним. Так как в моем распоряжении находилась масса иностранных газет и журналов, благодаря моей работе в „Гражданине", то мне был поручен отдел иностранной жизни и политики в журнале и иностранная библиография.

Я ушла из „Гражданина" совершенно внезапно. До этой минуты Мещерский никогда не вмешивался в мою работу, а тут вдруг предъявил мне требование, чтобы я всегда находилась в редакции—и утром и вечером, как в первое время. Я в течение уже нескольких лет исполняла всю работу дома и никаких претензий он мне не заявлял. Вообще, он никогда со мной не разговаривал и к тому же никогда не позволял себе никакой грубой выходки. Если он хотел что-нибудь сказать, то передавал мне это через секретаря, поэтому никаких конфликтов у меня с ним не происходило. Но тут, по совершенно непонятной мне причине, он призвал меня в свой кабинет, где я ни разу не бывала до этой минуты, и в довольно грубой категорической форме объявил мне свою волю.

Меня это взорвало и я ответила:

— Я не могу исполнить вашего требования и потому ухожу из редакции.

— Вы не имеете права! — крикнул он. — Я поступлю с вами, как с взбунтовавшимся рабочим!

— То есть как?—спросила я, уже стоя в дверях.

— Выгоню вас без расчета! — гаркнул он, окончательно рассвирепев.

— Вы не можете меня выгнать, потому что я уже объявила вам, что ухожу из редакции. Я больше не служу у вас, а деньги, которые вы должны мне за полмесяца, я дарю вам,—сказала я, стараясь говорить спокойно.—Я разрываю статьи, которые написала для завтрашнего номера,—прибавила я, разорвав листки, которые принесла с собой.

Он вскочил с кресла, на котором сидел за письменным столом и мне показалось в первую минуту, что он хотел броситься за мной. Но я быстро выбежала в коридор и захлопнула за собой дверь.

Я вернулась домой очень взволнованная. Когда я забежала в редакцию, чтобы проститься со служащими, то все они, очень хорошо относившиеся ко мне, были поражены выходкой Мещерского и никак не могли объяснить ее себе. Они очень жалели о моем уходе. Прибежал даже метранпаж из типографии газеты, которая находилась в том же доме. У него очень часто происходили конфликты с Мещерским и Мещерский недавно пригрозил ему, что вышлет его из Петербурга. Но наш метранпаж только посмеивался и оставался на своем месте.

Спустя неделю, Мещерский сам, по собственной инициативе, прислал мне через секретаря причитающиеся мне деньги за полмесяца. Так кончилась моя служба в „Гражданине". Уйдя из „Гражданина", я получила приглашение в газету „Новости" в отдел иностранной политики, таким образом иностранная пресса все-таки оставалась в моих руках и я могла быть полезна журналу „Мир Божий", в котором продолжала свое сотрудничество.

XII

Между редакциями „Русского Богатства" и „Мира Божьего" существовали самые дружеские отношения, не нарушавшиеся даже тогда, когда „Мир Божий" стал марксистским органом, и Николай Константинович начал горячую полемику с марксистами. Несмотря на это, редакции обоих журналов носили название „дружественных", потому что лица, стоявшие во главе их, сохраняли дружеские отношения. Одни и те же авторы, беллетристы и ученые печатались и в том, и в другом журнале, и никто не оспаривал первенствующих мест у этих двух журналов.

Но существование „Русского Богатства" подверглось опасности, когда возник конфликт на принципиальной почве между Кривенкой и Михайловским, окончившийся их полным разрывом и выходом Сергея Николаевича Кривенко из журнала вместе с небольшой частью сотрудников. Николай Константинович был так огорчен и расстроен возникшими недоразумениями между ним и его лучшим другом Кривенко, что решил, пока вопрос о дальнейшей судьбе журнала не будет выяснен окончательно, уехать из Петербурга в Финляндию на несколько дней. Он поселился на Иматре и писал мне оттуда, что тишина, спокойствие и суровая красота финляндской природы так благотворно подействовали на его нервную систему, что он надеется вернуться в Петербург совершенно здоровым и годным для работы и дальнейших битв. Когда он вернулся, участь журнала была решена, и он окончательно перешел в его руки. Но отношения

его с Кривенко навсегда рушились, и они уже больше не встречались до самой смерти, превратившись из таких близких друзей чуть ли не во врагов. Кривенко вышел из „Русского Богатства" и стал во главе редакции журнала „Новое Слово", который был приобретен О. Н. Поповой и сделался органом народников. Но в 1897 году он перешел в руки экономистов, и прежние сотрудники покинули его.

Пока в журнальном мире происходили все эти перемены, „Русское Богатство" и „Мир Божий" стояли твердо на занятых ими позициях.

Виктор Петрович, состоявший официальным редактором „Мира Божьего", принимал в определенные дни сотрудников журнала, приходивших по какому-нибудь делу, и авторов, предлагавших статьи. Александра Аркадьевна обычно сидела тогда рядом в маленькой комнате, которая была ее кабинетом и что-нибудь вязала, большею частью одеяло, которое она предназначала в подарок кому-нибудь из тех сотрудников или „примадоннов", который в данный момент пользовался ее расположением, как нужный для журнала человек. Но большею частью она не успевала кончить одеяла, как уже наступало разочарование в пригодности этого сотрудника, и одеяло предназначалось уже другому.

Когда приходил какой-нибудь автор узнать о судьбе своей статьи, то Виктор Петрович, обычно не читавший рукописей, приходил в комнату, где сидела Александра Аркадьевна за своей работой, и шепотом спрашивал ее; она же так же тихо говорила ему, что надо ответить автору. Но после того, как Ангел Иванович стал членом редакции, обыкновенно он вел переговоры с авторами, так как он, так же, как и Александра Аркадьевна, читал все статьи и совместно с ней обсуждал их и решал вопрос об их пригодности для журнала. Однако, почетное

звание редактора все же оставалось за Виктором Петровичем, и он мог попрежнему говорить „мой мир".

Мы все, ближайшие сотрудники и друзья, находились в очень тесном общении с редакцией журнала. Александра Аркадьевна никогда не отказывалась выручать нас из денежных затруднений и щедро раздавала авансы. Помню такой случай. Мне нужны были деньги, и я пошла в редакцию просить аванса у Александры Аркадьевны. Я застала ее сидящей в первой большой комнате, которая служила также приемной и столовой. У нее были какие-то посетители, поэтому я только поздоровалась с нею и прошла в маленькую соседнюю комнату, ее кабинет. Там уже находился Мамин и ее дочь Лидия Карловна. Они о чем-то весело разговаривали. Увидев меня, Мамин сказал:

— Вы пришли за авансом, Эмилия Кирилловна?

— Почему вы так думаете — спросила я.

— Вижу, „беспокойная ласковость взгляда"... — ответил он.

И мы все, втроем, расхохотались.

С тех пор эта фраза стала синонимом просьбы об авансе. Если кто-нибудь нуждался в авансе, то обыкновенно говорил: „Александра Аркадьевна, замечаете вы у меня „беспокойную ласковость взгляда"?—и она уже знала в чем дело.

Огромной потерей для журнала явилась ее смерть в 1902 году в феврале. „Отлетела душа из „Мира Божьего", сказал уже не помню кто из ближайших сотрудников журнала. Это была правда, но пока был жив Ангел Иванович душа эта как-будто еще оставалась в журнале.

„Северный Вестник" медленно погибал в то время, как „Русское Богатство" и „Мир Божий" быстро шли в гору. В 1897 году „Северный Вестник" прекратил свое

существование за недостатком подписчиков. Можно, не опасаясь быть обвиненной в преувеличении, сказать, что журнал погубил Волынский, настоящая фамилия которого Флексер, своей ожесточенной полемикой и борьбой с традициями шестидесятых годов. Он разрушал авторитеты любимых старых писателей и потому большинство читателей относилось враждебно к его литературной деятельности и к „Северному Вестнику", где фактически он был редактором и печатал свои критические статьи, преисполненные самых несдержанных злобных нападок на многих замечательных литературных деятелей, представителей русской передовой мысли.

Я познакомилась с Волынским у Александры Аркадьевны, которая почему-то почувствовала к нему жалость и взяла его под свое покровительство, когда он был еще студентом и только начинал свою литературную деятельность, помещая статейки в „Восходе", и она же попросила за него Николая Константиновича, бывшего в то время членом редакции „Северного Вестника". Таким образом, Волынский сделался сотрудником журнала, из которого скоро ушел Михайловский.

— Он был такой бедный, скромный студент и казался изголодавшимся, — говорила нам Александра Аркадьевна.

Так ли это было, я не знаю, но Александра Аркадьевна пригрела его. Это было до основания ею своего журнала, но и после появления на свет „Мира Божьего" Волынский был постоянным ее посетителем, даже читал у нее свои философские доклады и писал ей о боге и религии. Она всегда заступалась за него, когда на него нападали. К Николаю Константиновичу Волынский сначала относился весьма почтительно, но Николай Константинович холодно отклонил его заискивания.

Вообще, Николай Константинович с трудом выносил его, считая лжецом и лицемером. Молодежь, возмущав-

шаяся полемическими статьями Волынского, поддерживала враждебное отношение к нему Николая Константиновича. Дело дошло до того, что, однажды, Николай Константинович, придя на один из журфиксов к Александре Аркадьевне и здороваясь со всеми, не подал руки Волынскому.

Я как раз была очень занята в этот день и не была на журфиксе „Мира Божьего", поэтому и не знала, что̀ там произошло, но на другое утро получила записку от Александры Аркадьевны, которая просила меня зайти к ней по спешному делу перед моим уходом на работу в редакцию газеты.

Я застала ее в сильнейшем волнении.

— Можете вы мне объяснить, что это такое? Чем был вызван такой поступок Николая Константиновича?— говорила она очень возбужденная, рассказав мне, как было дело. — Бедный Флексер готов был провалиться сквозь землю.

— Ну, он не из таких, которые проваливаются, — заметила я, невольно улыбнувшись, и сидевшая тут же Лидия Карловна засмеялась.

— Он в отчаянии, говорил, что остается только утопиться после такого оскорбления! — продолжала волноваться Александра Аркадьевна. — Понимаете, литератор, которому Михайловский не подал руки, ведь он заклеймен теперь! Слушайте, Эмилия Кирилловна, я не могу говорить об этом с Николаем Константиновичем, он слишком ненавидит Флексера. Вы же совершенно нейтральный человек, он не может обвинить вас в пристрастии. Поговорите с ним. Подумайте, каково было мое положение хозяйки дома при этом!

— Хорошо, — сказала я, чтобы успокоить ее, и поняв многозначительный взгляд, который бросила на меня Лидия Карловна. — Я заеду к нему после редакции.

Я обещала, а между тем я решительно не знала, о чем я буду говорить с ним. Зная хорошо нетерпимость Николая Константиновича, я совершенно не рассчитывала на успех своего разговора с ним. До сих пор я всегда воздерживалась от всякого вмешательства, и если высказывала когда-нибудь свое мнение о каком-нибудь его поступке, то это было лишь тогда, когда он сам вызывал меня на это. Я проклинала в душе Флексера, из-за которого у меня мог выйти неприятный разговор с Николаем Константиновичем, и волновалась не менее Александры Аркадьевны, когда входила в его кабинет. Но, к моей большой радости, Николай Константинович сам был недоволен, что поддался чувству негодования, которое охватило его при виде Флексера, и позволил себе бестактный поступок, доставивший неприятность женщине, которую он глубоко уважал.

— Я зол на себя, — сказал он, расхаживая взад и вперед по комнате, — зол на свою несдержанность. Но я готов объясниться с ним. Пусть он придет ко мне, и я скажу ему, что так возмущает меня в его поведении именно в отношении Александры Аркадьевны. Раз вы уже взяли на себя роль парламентера, то передайте это Александре Аркадьевне. Я искренно извиняюсь перед ней.

Конечно, я ушла от Николая Константиновича очень довольная исходом нашего разговора и тотчас же отправилась к Александре Аркадьевне сообщить ей о результатах. Она немедленно послала записку к Флексеру, чтобы он пришел к ней. Когда он пришел, она послала за мной, и у нас произошел презабавный разговор. Флексер как-будто несколько трусил, и она спросила меня:

— Эмилия Кирилловна, вы ручаетесь, что Николай Константинович не спустит его с лестницы?

Это был такой неожиданный вопрос, что я невольно расхохоталась и ответила:

— Ну, конечно, ручаюсь!

Но у Флексера был такой растерянный вид, что мне его в самом деле стало жалко в ту минуту.

Вечером Николай Константинович пришел ко мне, и я рассказала ему о своем свидании с Александрой Аркадьевной и Флексером.

— Смотрите же, милый друг, не подведите меня,— сказала я, смеясь, Николаю Константиновичу.—Я ведь поручилась, что вы не спустите его с лестницы.

На другой день Николай Константинович, придя ко мне вечером, рассказал, что Флексер был у него и сильно волновался, то бледнел, то краснел и вытирал пот с лица. Он как бы раскрывал свою душу, исповедывался перед Николаем Константиновичем, рассказал ему всю свою жизнь и даже сообщил такую подробность, что он хотел быть девственником, потому что стремится к идеализму и мечтал посвятить свою жизнь борьбе за идеализм и исканию новой красоты.

— Я не могу сказать, чтобы он говорил плохо, но очень напыщенно, и, в сущности, все, что он говорил, никакого отношения не имело к инциденту, из-за которого произошло наше свидание,—сказал Николай Константинович.—Все-таки он был жалок, и чтобы покончить с этими тяжелыми минутами, я протянул ему руку. Тогда произошло нечто неожиданное для меня: он достал из своего портфеля большую книгу, перевод Спинозы Л. Гуревич, изданный под его редакцией, и подал ее мне. На книге была уже заранее сделана им весьма почтительная надпись, адресованная мне. Очевидно, он приготовил ее заранее, на случай благоприятного исхода нашего свидания.

Так кончился этот неприятный инцидент, в котором мне пришлось невольно играть роль какой-то посредницы. Флексер, повидимому, именно так смотрел на меня, потому что он вдруг пришел ко мне на другой день (он

никогда не бывал у меня раньше) и принес мне оттиски своих статей из „Северного Вестника“ тоже с соответствующей надписью. С тех пор я больше не видала Флексера. Он перестал бывать у Александры Аркадьевны и, вообще, избегал встречаться со мной, как я узнала потом. Но его критические статьи в „Северном Вестнике“ стали еще озлобленнее, чем прежде.

В 1895 году из Нижнего Новгорода окончательно приехал Николай Федорович Анненский, который сделался ближайшим сотрудником „Русского Богатства“ и членом редакции. Вскоре приехал также Владимир Галактионович Короленко и также сделался членом редакции „Русского Богатства“. Николай Константинович был очень доволен переселением в Петербург Короленко, и в особенности Анненского, про которого Николай Константинович говорил мне, что считает его неоценимым помощником и очень рад иметь его под рукой.

— Это чрезвычайно интересный человек,—сказал мне Николай Константинович про Анненского, о котором я еще ничего не знала тогда.—Мы оба были сотрудниками „Отечественных Записок“ и я очень уважал Николая Федоровича. Но одно пустое недоразумение, которое я слишком близко принял к сердцу, не имевшее, впрочем, никакого отношения к литературе, вызвало между нами временный разрыв. Николай Федорович вышел из „Отечественных Записок“ и уехал из Петербурга. Я очень рад, что все это миновало и мы опять будем вместе работать. Анненский один из тех людей, которых я глубоко уважаю и ценю. Такой же прекрасный человек его жена, Александра Никитишна.

Я довольно близко сошлась с Анненскими и убедилась, что мнение, высказанное Николаем Константино-

вичем, было вполне справедливо. Анненский был необыкновенно остроумный собеседник, веселый и приветливый и всегда был душой общества, когда мы собирались по четвергам вечером, в редакции „Русского Богатства“. Это был прирожденный прекрасный оратор, увлекавший своих слушателей на собраниях. Его отсутствие всегда было заметно, даже более чем отсутствие Николая Константиновича, который вообще не любил выступать на собраниях и особенным красноречием не обладал.

Обыкновенно по четвергам, после собрания и чаепития в редакции наиболее тесный кружок отправлялся ужинать в ресторан Палкина и там, в задушевной веселой компании, заканчивался вечер. Тогда-то в шутку был учрежден так называемый „Орден пятачка“—плата за остроумие и собранные таким образом деньги назывались „Татьяниными деньгами“, по имени племянницы Н. Ф. Анненского Татьяны Александровны, вышедшей впоследствии замуж за Ангела Ивановича Богдановича, редактора „Мира Божьего“ и бывшей постоянным членом общества Красного Креста (политического) и передатчицей собранных сумм по принадлежности. Иной раз возникало даже настоящее состязание в остроумии и пальма первенства непременно присуждалась Николаю Федоровичу Анненскому, который платился больше всех за свой талант.

Эти ужины „Русского Богатства“ в одном из кабинетов ресторана „Палкин“, на углу Владимирской и Невского, всегда отличались большим оживлением. Шутили, смеялись, но порой в этой непринужденной товарищеской беседе затрагивались и различные злобы дня, вопросы, волновавшие тогда русское общество, на которые журнал так или иначе должен был откликнуться. В этих разговорах Николай Константинович принимал деятельное участие и когда он провожал меня домой, то говорил

мне, что его радует сплоченность, существующая между сотрудниками „Русского Богатства“.

— Меня только беспокоит порой „прекраснодушие“ Короленко,—говорил он.—Вы знаете, я люблю ставить вопросы определенно и резко. Не люблю мягких, снисходительных и неопределенных отзывов. Ну, а Владимир Галактионович не способен на это. Я чувствую, что его порой возмущает моя резкость, хотя он никогда не высказывал мне этого прямо, но мягко спорил со мной относительно некоторых отзывов.

Я рассмеялась, вспомнив, как он однажды сказал мне, что рецензии должны быть написаны „веселыми ногами“.

— Что это значит?—спросила я.

— Легко, остроумно, язвительно,—отвечал он.

— Но вы, в своих полемических статьях бываете порой слишком язвительны и даже, пожалуй, выходите за пределы допускаемого вами самими.

Я добавила это довольно нерешительным тоном, я боялась его рассердить, но он добродушно ответил:

— Я это сам сознаю... иногда. Видите ли, я начинаю свою полемическую статью совершенно спокойным тоном, но по мере писания, я начинаю раздражаться.

— Возникает полемический задор?—заметила я.

— Нет, не то. Я просто начинаю глубже проникать в то, о чем пишу и нахожу многое множество поводов для раздражения и возмущения непониманием моего противника сущности моей мысли. Отсюда и вытекает то, что вы назвали полемическим задором. Помните, один наш спор по поводу вопроса, одинаково затрагивающего нас обоих. Я сначала спокойно доказывал вам, что вы неправы, но когда мне показалось, что вы упорствуете, что вы не хотите или не можете понять меня, то я стал раздражаться и наговорил лишнее... Вы меня простили, милый друг, и не сердитесь на меня?

— Конечно нет,—отвечала я.—Но почему вы не допускаете ошибочности своей оценки, вы всегда считаете, что правы вы, а не ваш противник?

— Если я глубоко верю в свою правоту, то—да, как же иначе? В моих статьях тем более. Я не мог бы писать, если б я не был уверен в истине того, что я говорю.

— В „правде-истине“ и „правде-справедливости“?—засмеялась я.

— Вы ловите меня на словах и хотите вовлечь в философские разговоры, которых я не люблю.

— Ну, ну, не сердитесь,—сказала я.—Оставим эти рассуждения. Вы прекрасно знаете, как я высоко ставлю вашу „правду-истину“ и „правду-справедливость“, но только...

— Только вы хотели бы, чтобы я был так же мягок и снисходителен, как Короленко?

— Да.

— Что-ж делать? Я не похож на него.

И я подумала о разнице, которая существовала между этими двумя людьми, стоящими одинаково высоко. Короленко был мягок и снисходителен в отношениях и литературных отзывах (Николай Константинович называл это „прекраснодушием“), но он был очень строг в моральной оценке своих поступков. Поэтому, мне кажется, и не могла образоваться между ними та близость, которая должна была бы существовать.

Николай Константинович часто жаловался мне на то, что такой большой художник, как Короленко, отклоняется от своей прямой дороги и уклоняется в сторону публицистики.

— Он может удовлетворить это стремление в „Русском Богатстве“, потому что, вместе с Николаем Федоровичем, пишет Внутреннее обозрение и они подписывают его „О-б-а“, т.-е. „оба“. Но меня это все-таки огорчает,—говорил Николай Константинович.

XIII

Николай Константинович, бывший фактическим редактором „Русского Богатства“, официально им не считался и редакторами журнала попрежнему оставались П. Быков и С. Попов, имена которых продолжали значиться на журнале и после того, как он перешел от Оболенского к бывшим сотрудникам „Отечественных Записок“. Считалось более благоразумным не просить начальство об утверждении новых официальных редакторов. Быков никакого участия в журнале не принимал и никогда не показывался в редакции, а про Попова, который был доктор и жил где-то в Крыму, кажется, в Евпатории, ходили слухи, что он утонул. В редакции его так и называли „редактор-утопленник“. Но имена обоих официальных редакторов неизменно появлялись на каждой книжке. Менялись только издатели журнала.

Однажды Николай Константинович заходит ко мне днем и говорит:

— В редакцию неожиданно явился „утопленник“. Он приехал из Евпатории и, придя в редакцию, отрекомендовался: „Ваш редактор“,—и пояснил, что он очень интересуется „Русским Богатством“, о котором так много говорят теперь и знакомые спрашивают его о журнале, так как он считается его редактором, а он даже не видал ни одного номера „Русского Богатства“ и не имеет о нем понятия. Александр Иванович тотчас дал ему номера журнала для просмотра, но он даже не заглянул в них.

Александр Иванович не знает, о чем говорить с ним и мы подумали о вас. Он ведь врач, так же, как и вы, этот „утопленник“, поэтому вы скорее можете найти с ним общий язык. Поедем же со мной в редакцию.

Попов оказался скромным и застенчивым человеком, типичным провинциалом. Видимо, он сам не знал, как ему держать себя в роли редактора и несколько конфузился. Но все-таки в редакции были весьма встревожены его появлением. В самом деле, ведь его никто не знал, что он за человек, какие у него взгляды! Ведь он мог причинить какие-нибудь затруднения и неприятности журналу в своем звании редактора! Однако, волей-неволей приходилось мириться с неизбежностью. Ему сказали, что по четвергам вечером в редакции собираются сотрудники и его пригласили притти, чтобы познакомиться с ними. Он пришел, но как ни старались некоторые из сотрудников заставить его разговориться, все-таки это не удалось и его оставили в покое.

Через два дня после этого был день рождения Николая Константиновича — 15-го ноября. Этот день, так же, как и день его именин 6-го декабря, праздновался всегда особенно торжественно и шумно. В эти дни двери в его квартиру не запирались. Все могли свободно приходить к нему, кто хотел его повидать и поздравить, оставаться, сколько захочется и уходить, когда захочется. Стол был накрыт для всех; хозяин и его сыновья заботились об угощении гостей.

К Николаю Константиновичу в этот день приходили люди, которых он не знал и не видал никогда, но кто-нибудь из знакомых приводил их и представлял хозяину. Молодежь, студенты и курсистки являлись беспрепятственно и веселились на этих вечерах от души. Стеснения никто не чувствовал, и каждый делал, что хотел, поэтому эти два празднества пользовались популярностью

в Петербурге и считались как бы общим праздником. К Николаю Константиновичу в эти дни приходили депутации от учащейся молодежи, подносились адреса и т. п.

Конечно, редактор Попов был приглашен на этот праздник. Он явился и сначала был несколько смущен таким многолюдным собранием, но под конец разошелся. Он порядочно подвыпил и, вдруг выйдя на середину комнаты, провозгласил тост „за государя императора“ и громко запел „боже царя храни“. В первый момент все были ошеломлены такой неожиданностью, а потом поднялся свист, крик, шиканье. Кое-как удалось заставить Попова замолчать. Но он, повидимому, совершенно не понимал ничего и только с каким-то оторопелым видом оглядывал всех.

— Ай да редактор! — говорили в публике. Тогда Николай Константинович, в страшном волнении, выступил вперед и обратился к присутствующим с горячей речью, указывая на тяжелые ненормальные условия, в которых находится русская прогрессивная печать.

— Вы видите сегодня яркую иллюстрацию этого — сказал он. — Этот господин, поющий „боже царя храни“, редактор „Русского Богатства“!...

Никогда, ни прежде, ни после, Николай Константинович не говорил с таким жаром и так хорошо, как в эту минуту. Вообще, он не любил произносить речей и всегда избегал этого, но тут его задели за живое. Если бы это был кто-нибудь другой, а ведь это был так называемый редактор „Русского Богатства“!... С этим трудно было примириться!

Но ему пришлось и в другой раз нести на себе последствия своего ложного положения.

После смерти Александра III, по инициативе „Нового Времени“, „Новостей“ и других органов печати была организована подписка на венок императору от русской печати и все редакции журналов приглашены были участвовать в ней. Редактор „Русского Богатства“ дал свою подпись, не предупредив никого из редакции.

Николай Константинович ничего не подозревал, но в редакцию явились из полиции за деньгами на венок и пришлось признать свершившийся факт. А бедный Николай Константинович должен был из-за этого вынести целую бурю. К нему явилась делегация от курсисток, потребовавшая его к ответу за то, что в числе венков на похоронах царя находился и венок „Русского Богатства“.

— Ну, и задали же они мне баню! — рассказывал он мне, смеясь. — Если бы только вы слышали, какой град упреков на меня посыпался! Эти курсистки очень строги и никакие обстоятельства не желают принимать во внимание. Я точно провинившийся школьник стоял перед ними и выслушивал выговор.

Он смеялся, но, в сущности, это был „смех сквозь слезы“, и я отлично знала, до какой степени его раздражало и возмущало собственное бессилие. Но все его усилия порвать эти цепи, сковывающие литературу, были тщетны. Попов, который оказался пьяницей, к счастью, уехал и больше никто ничего не слыхал о нем. Однако, положение журнала попрежнему оставалось ложным и это доказала подписка на венок Александру III.

Николай Константинович не искал популярности и не любил выступать публично, но он не мог все-таки отказываться читать что-нибудь из своих статей на вечерах, устраиваемых литературным фондом в зале Кредитного

Общества на площади Александринского театра. Это были самые популярные литературные вечера в Петербурге, на них собиралась самая отборная публика и, конечно, всегда было множество студенческой молодежи обоего пола. Зал был всегда в эти вечера битком набит и когда выходил на эстраду Николай Константинович, его встречали необыкновенно бурными аплодисментами и устраивали ему настоящую овацию. Но, даже зная, что ему предстоит такая горячая встреча, он все-таки начинал волноваться с утра в этот день и совершенно искренно говорил мне, что для него истинное мучение выходить на эстраду.

— Я охотно поступил бы так, как поступил однажды Глеб Иванович, — сказал мне Николай Константинович перед одним из таких вечеров, где он должен был читать. — Знаете, его, конечно, встретили градом аплодисментов. Он подождал с видом мученика, пока утихнут аплодисменты, потом раскрыл книгу, из которой должен был читать, постоял несколько минут молча, вдруг закрыл ее и так же молча сошел с эстрады. Это было великолепно, но у меня не хватит храбрости так поступить.

XIV

Николай Константинович очень любил Успенского и страшно огорчился, когда определилась безнадежность его психического заболевания. Я была в то время в Италии, и в Неаполе получила от Николая Константиновича крайне огорченное письмо, в котором он писал мне о болезни Глеба Ивановича, и о помещении его в психиатрическую больницу доктора Фрея на Васильевском острове. В Новгородскую Колмовскую лечебницу, которой заведывал доктор Синани, очень любивший Глеба Ивановича, он был помещен потом.

— Возвращайтесь, милый друг, — писал мне Николай Константинович, — мы с вами поедем навестить Глеба Ивановича. Это можно. Можно даже повезти его кататься на острова. Я говорил об этом с доктором, он разрешает. А вас Глеб Иванович будет рад увидеть. Я говорил ему, что пишу вам...

Николай Константинович исполнил свою программу, когда я приехала. В болезни Глеба Ивановича бывали светлые промежутки и тогда как раз наступило некоторое улучшение, так что он не произвел на меня такого безотрадного впечатления, как я ожидала. Наоборот, он оказался таким же обаятельным собеседником, каким был всегда с людьми, к которым был расположен и только в толпе чужих людей, которые на него „пялили глаза", как он выражался, он как-то сникал и готов был „улизнуть", спрятаться подальше.

Когда мы заехали за ним в больницу и он вышел к нам, то сказал, смеясь, Николаю Константиновичу.

— Обратите внимание на мой хорошенький светлый галстух. Это мне дал доктор. Он сказал, что я еду с дамой и потому должен прифрантиться.

Мы проехались по островам и даже пообедали с ним в ресторане. Он был очень весел и разговорчив и нельзя было даже подумать, что это душевнобольной, которого врачи признают неизлечимым. Ах, как не хотелось этому верить! В такие светлые минуты он производил отрадное впечатление. Но все же, когда мы расстались с ним, отвезя его обратно в лечебницу, нам обоим стало необыкновенно грустно. Мне думалось, что это только временное просветление, да это так и было. Потом, когда он был в Колмовской больнице, временами ему становилось настолько лучше, что он ездил, конечно, с провожатыми, и в Чудово, где у него был дом, и в Петербург, где иногда оставался дольше. Когда он бывал в Петербурге, то почти каждый день приходил к Николаю Константиновичу. Я раза два видела его там, да и то мельком. Николай Константинович больше не приводил его ко мне. Мне кажется, он замечал, что болезнь Глеба Ивановича прогрессирует и никакой надежды на исцеление не остается, поэтому не хотел говорить о нем и видеть его в той обстановке, в которой он видел его раньше, когда он еще не находился во власти бредовых идей, доводивших его до отчаяния. Я была благодарна Николаю Константиновичу за это, потому что было бы так тяжело наблюдать разрушение, которое производила в нем жестокая болезнь и в моей памяти сохранился все тот же чудный образ человека „с прекрасными скорбными глазами", каким я видела его раньше.

XV

Я хочу рассказать здесь один курьезный эпизод, относящийся лично ко мне, но весьма характерный для условий жизни русского общества. Я уже несколько лет работала в „Мире Божьем“, писала из книжки в книжку иностранное обозрение и вот, однажды, получила от Александры Аркадьевны приглашение зайти к ней безотлагательно для переговоров об одном деле.

Я пошла, несколько заинтригованная, вспомнив о таком же приглашении во время инцидента с Флексером. Но дело оказалось совсем иного рода. Гвардейский офицер, сын ее хорошей знакомой, состоящий при военном министре Куропаткине, обратился к ней с просьбой познакомить его с лицом, пишущим в ее журнале иностранное обозрение. Так как эти статьи в журнале не подписывались, то он не знал, кто их пишет.

— Я спросила Г., зачем ему это нужно, и он ответил, что хочет обратиться к автору этих статей с предложением писать для него бюллетени по иностранной политике,—рассказала мне Александра Аркадьевна.—Г. должен ежедневно представлять эти бюллетени министру, но так как он сам мало сведущ в вопросах иностранной политики, то поручил эту работу одному лицу, работающему в газете „Биржевые Ведомости“. Однако, этот человек подвел его, написав в одном из бюллетеней совершенно неверные, выдуманные сведения, которых не было в иностранных газетах и Г. мог иметь большие неприятности

из-за этого, и даже лишиться своего видного, прекрасного места при министре.

— Я сказала ему, что статьи эти у нас пишет женщина, — продолжала Александра Аркадьевна. — „Тем лучше, — ответил он. — Женщине нет надобности подставлять мне ножку, если у нее нет желания мешать мне и портить мне карьеру. Спросите вашу сотрудницу, согласится ли она на такую работу, которая, конечно, должна сохраняться в тайне. Министр должен пребывать в уверенности, что исполняю ее я“.

Мы обе расхохотались. Оказалось, что с матерью этого офицера я также знакома, только с ним никогда не встречалась.

— Вот как устраиваются дела в нашей благословенной России! — воскликнула я. — Конечно, я согласна. Это будет очень забавно писать бюллетени для военного министра. Моим другим работам в журнале и газете это помешать не может.

В тот день вечером Г. явился ко мне для переговоров. Условия, предложенные мне были очень выгодны. Он показал мне целый список иностранных газет, которые получались в военном министерстве, но я могла прибавить к ним еще, какие хочу, газеты и журналы. Притом все это получалось без цензуры и получались даже такие органы, которые были запрещены в России. Ежедневно его доверенный слуга должен был приносить мне утром иностранную почту, и, просмотрев ее и написав бюллетень, переписанный на машинке, я должна была вложить его в большой конверт с напечатанным на нем именем адъютанта министра, барона Остен-Сакена и отправить его к шести часам вечера на квартиру Г.

Выполнить такую работу мне было, конечно, не трудно, так как я все эти годы имела дело с иностранной печатью и иностранной политикой и изучила направление всех газет.

Итак, Куропаткин ежедневно читал мои доклады, не подозревая, конечно кто писал их, и Г. добросовестно сообщал мне, что военный министр доволен его работой.

Г. был не дурак и сам смеялся над этой мистификацией, говоря со мной, уверенный, что я его не выдам. Но всего забавнее было, когда он отправлялся на доклад к министру. Утром он заезжал ко мне и я должна была его „натаскивать", по выражению школьников, а он записывал то, что я ему говорила, на своих манжетах. Это были хорошо известные всем ученикам „шпаргалки".

Вооруженный таким образом, он делал свой доклад и Куропаткин оставался доволен. Иногда Куропаткин поручал ему сделать письменно подробный доклад по какому-нибудь вопросу, специально интересующему его. Разумеется, такие доклады должна была писать я. Так мне пришлось написать ему целую статью о китайских тайных обществах и о боксерах. Тогда это составляло злобу дня.

Таким образом мы проработали с ним несколько лет и его тайна не была обнаружена. Летом я всегда была свободна два месяца, когда Куропаткин уезжал в Крым и, следовательно, ему не надо было делать доклады, а Г. тоже пользовался в то время отпуском и уезжал за границу. Но Куропаткин вдруг захотел получать бюллетени и летом. Он заявил это Г.

Такое решение было совершенно неожиданным. Г. приехал ко мне и сказал, что надо и летом продолжать эту работу. Г. заявил Куропаткину, что он болен и непременно должен ехать на воды за границу и Куропаткин ответил ему следующее:

— Ведь вы же, конечно, будете читать газеты и следить за политикой даже за границей. Так вот пишите бюллетени и посылайте их мне два раза в неделю.

— Как же быть?—воскликнула я.—У меня тоже взяты билеты и я уезжаю за границу.

— Я все устрою,—ответил Г.—В каждом городе, в котором вы будете останавливаться, просматривайте газеты, пишите бюллетени и посылайте их в письме моему доверенному лицу. Он уже перепишет их на машинке и отправит по назначению. Таким образом все будет шито-крыто. Вам это будет не трудно сделать, а если я стану этим заниматься и буду писать бюллетени, то Куропаткин тотчас же заметит подлог.

Мне было очень досадно, но я вынуждена была согласиться, потому что дорожила этой выгодной и приятной работой. И вот, останавливаясь в каком-нибудь городе за границей, я тотчас же посылала за газетами и, написав бюллетень, относила его на почту. Так продолжалось все лето.

Когда Г. вернулся, то пришел ко мне очень довольный. Куропаткин благодарил его за то, что он так аккуратно присылал ему бюллетени и опять мы оба расхохотались.

Занимаясь так много иностранной политикой, просматривая ежедневно до 20 иностранных газет и читая иностранные журналы, запрещенные русской цензурой, я уже в 1903 году заметила, что политический горизонт покрывается тучами и говорила об этом своему патрону Г., указывая на это в своих бюллетенях министру. Г. сказал мне, что Куропаткин знает об этом, но опасаться нам войны нечего, так как мы готовы к ней! Тучи скопляются на Востоке и туда будут направлены наши силы.

— Куропаткин, как и другие министры, говорит, что внутри у нас происходит брожение, война же может слу-

жить отвлечением, предотвратить революционный взрыв. Он уверен, что мы не можем потерпеть поражения на Востоке,—сказал мне Г.

Лето прошло относительно спокойно. Я, как всегда, уехала за границу с детьми и посылала оттуда бюллетени, а Г. был где-то на водах. Он вернулся ранней осенью и огорошил меня заявлением, что он подает в отставку.

— Я не могу откладывать—сказал он мне.—Теперь меня отпустят, у меня ведь есть протекция, а позже никого увольнять не будут. Вы сами указывали, что собираются тучи и у нас скоро будет война. Она будет на Востоке. Там скопилось много горючего материала и притом нам нужно отвлечение.

Я была очень огорчена, что должна будет прекратиться моя хорошая, удобная работа, но в глубине души все же надеялась, что Куропаткин не отпустит Г., ведь он был очень доволен им. Однако, вскоре после моего разговора с ним, я получила от него записку следующего содержания:

„Я получил отставку, но Куропаткин просил меня все-таки продолжать свою работу, пока он не найдет мне заместителя. Я, конечно, согласился. Поэтому и вы, Эмилия Кирилловна, продолжайте ее и отсылайте каждый день бюллетени ко мне на квартиру моему доверенному, который обо всем осведомлен. А я сегодня вечером уезжаю за границу“.

Последнее сообщение меня несколько ошеломило. Он уезжает, а я остаюсь и буду продолжать его работу?.. Ну, что-ж, я тут никого не обманываю, а Г. обманывает министра, выдавая мою работу за свою. Г. и ухом не повел, когда я высказала ему свои опасения. По его мнению, это самый невинный обман и никому не приносит вреда, а министров, вообще, приходится обманывать.

— Впрочем, я думаю скоро вернуться,—сказал он,— и тогда у нас опять дело наладится.

И вот я продолжала работу, как прежде. Каждое утро приносили мне газеты и каждый день к шести часам я отсылала свои бюллетени. Так продолжалось несколько месяцев, Г. не возвращался.

Однажды утром мне подали карточку с неизвестной мне фамилией какого-то графа. Я вышла в гостиную и увидела перед собой молодого гвардейского офицера небольшого роста. Он звякнул шпорами, представляясь мне, и сказал, видимо, конфузясь:

— Я пришел к вам по делу. Военный министр послал меня...

Заметив мое недоумение, он торопливо прибавил:

— Вы работали для Г., а я назначен на его место. Военный министр призвал меня и приказал мне отправиться к Г. и поучиться у него, „потому что его работа была именно такая, какая была мне нужна,—сказал министр.—Поработайте сначала под его руководством“.— Я, конечно, тотчас же отправился к Г., но к своему величайшему удивлению узнал, что он три месяца тому назад уехал за границу. „Кто же мне пишет бюллетени?“—вскричал изумленный министр, когда я доложил ему об этом.—„Не знаю, ваше высокопревосходительство,“—отвечал я.—„Разузнайте, разыщите это лицо и отправьтесь к нему учиться. Это то, что мне нужно“.—Но навести справки было не легко. Я постарался узнать сначала, кто был доверенный Г. Оказалось, что Г. постоянно получал письма от какой-то дамы через этого доверенного. Но мне не приходило в голову, что эта дама могла быть автором бюллетеней. Все-таки я стал наводить справки дальше и таким образом напал на ваш след. Когда я узнал, что вы сотрудница „Мира Божьего“ и пишете там иностранное обозрение, то сомнения мои исчезли.

Я доложил об этом министру и пошел к вам. Согласны вы заняться со мной?

— Да,—отвечала я.

С этого дня моя работа изменила свой характер. Она стала редакторской. Я отмечала ему статьи в газетах, которыми он должен был воспользоваться и просматривала то, что он написал. Но это продолжалось недолго. Моя работа сама собой прекратилась во время русско-японской войны, когда Куропаткин уехал на фронт спасать положение.

XVI

Вспоминая этот любопытный эпизод, я уклонилась несколько в сторону. Возвращаюсь теперь к девяностым годам. Эти годы ознаменовались страстной идейной борьбой между двумя прогрессивными направлениями, все же близкими друг к другу во многих существенных пунктах.

Это было во времена так называемого марксизма.

Кроме журнала „Мир Божий“, стоявшего на стороне марксизма, главным органом этого направления был журнал „Жизнь“, в котором фактическим редактором в 1898 году был В. А. Поссе. Журнал этот, вызывавший сочувствие молодежи и читаемый интеллигентными рабочими, очень быстро достиг значительного успеха и поэтому обратил на себя внимание начальства. Несмотря на то, что все статьи, печатавшиеся в журнале, проходили через предварительную цензуру, так как журнал был подцензурный, в 1901 году его ответственный редактор был арестован и один из главных сотрудников, писавший внутреннее обозрение в журнале, А. Никонов, бывший морской офицер, а потом присяжный поверенный, тоже был арестован и выслан из Петербурга. Направление журнала было признано „вредным“ и, согласно существующим узаконениям, он был закрыт навсегда по постановлению четырех министров. Но некоторое, недолгое время, этот журнал выходил за границей в качестве органа русской социал-демократии.

Журнал „Образование“, преобразованный из педагогического журнала „Женское Образование“ и пользовав-

шийся симпатиями передовых русских читателей, издавался директором Тенишевского училища А. Я. Острогорским и также был с марксистским уклоном.

Ни один из этих журналов, однако, не мог отвоевать первенствующего места у „Русского Богатства“ и „Мира Божьего“.

Марксисты, очень желавшие иметь собственный орган, поддались на правительственную провокацию. Некто Гурович, когда-то бывший в ссылке и потому заручившийся рекомендациями, явился вместе со своей приятельницей Воейковой и предложил кружку марксистов основать журнал, который служил бы для распространения марксистских идей в России. Марксисты с радостью ухватились за это, и таким путем был основан журнал „Начало“. Но Гурович был разоблачен, он оказался агентом-провокатором и журнал после трех номеров прекратился.

Борьба двух направлений русской общественной мысли, выражавшаяся в горячей полемике на страницах журналов, в публичных собраниях и дебатах в Вольно-Экономическом Обществе, вызвала большое оживление в литературных общественных передовых кружках, что особенно бросалось в глаза после подавленного унылого настроения второй половины восьмидесятых годов. Точно наступило какое-то пробуждение и, казалось, пульс жизни забился сильнее.

Официальными представителями марксизма считались тогда Струве и Туган-Барановский, оба сотрудничавшие в „Мире Божьем“, а Струве также печатал свои „марксистские“ статьи в журнале „Жизнь“ и, конечно, в журнале „Начало“, который редактировал Туган-Барановский. Тогда они были неразлучными друзьями и талантливый литературный карикатурист В. Каррик нарисовал каррикатуру, изображавшую почтенную и уважаемую Александру Михайловну Калмыкову, симпатизировавшую марксистскому движению, в виде кормилицы, держащей на руках кричащих младенцев Струве и Туган-Барановского. Каррикатура была нарисована очень искусно, лица всех трех очень были похожи. На литературных журфиксах эта каррикатура ходила по рукам и всегда вызывала шутки и смех.

В самом центре этой идейной борьбы находился Николай Константинович. Он не выступал в собраниях, потому что не любил говорить, но его критика так называемого экономического материализма отличалась чрезвычайной остротой и едкостью. Тем не менее, даже самые страстные марксисты, его идейные противники, не могли устоять перед обаянием его личности, и сорокалетний юбилей его литературной деятельности, отпразднованный в 1900 году, на который откликнулись передовые люди со всех концов России, лучше всего доказал это.

Но злой недуг, медленно подкрадывавшийся к нему, уже тогда подтачивал его силы. У него развивалась болезнь сердца, но он не хотел признавать себя больным и нуждающимся в продолжительном отдыхе и лечении. Он раздражался, когда ему говорили об этом и мы, близкие ему люди, горячо любившие его, с мучительной тревогой следили, как прогрессирует его болезнь...

В последний раз я его видела вечером 26-го января 1904 года, на именинах у Марии Валентиновны Ватсон, где он бывал в этот день из года в год. Обыкновенно на этих собраниях бывало очень шумно и оживленно. Так и на этот раз. Мне, однако, бросилась в глаза особенная бледность Николая Константиновича, он как будто делал над собою усилие, чтобы казаться оживленным. Какая-то смутная тревога закралась мне в сердце и я думала об этом, когда вернулась домой.

На другой день было получено известие о нападении японцев на Порт-Артур. Война началась. Я не могла повидать в этот день Николая Константиновича, но знала, что это известие взволнует его. Вечером же его не было дома, он был на заседании комитета литературного фонда. Однако, тревожное чувство не покидало меня и я решила непременно быть у него на другой день, но... на другой день рано утром меня разбудили запиской, принесенной из его квартиры и извещавшей меня, что Николай Константинович скончался...

Я тотчас же поехала к нему. Он жил с племянником и младшим сыном, но ни того, ни другого, не было дома, когда он вернулся накануне из заседания, около двенадцати часов ночи. Швейцар сказал мне, что он заметил, что Николай Константинович с каким-то трудом всходил по лестнице и даже два раза останáвливался, хотя жил всего во втором этаже. Очевидно, у него уже начинался сердечный припадок. Он открыл дверь своим ключем и вошел в свою спальню, маленькую комнату, которая вела прямо из передней, оставив дверь в нее открытой. Он сбросил шубу, снял шапку и кашнэ, которые аккуратно сложил на столе и даже принял успокоительный порошок, но не успел раздеться... Он присел на кровать и умер, сидя, отклонившись к стене. Когда его племянник вернулся домой в два часа ночи, то удивленный, что дверь в спальню дяди открыта, вошел к нему и, увидав, что он сидит на кровати, сначала подумал, что ему сделалось дурно, как это бывало не раз и бросился к нему. Но он уже был мертв...

Николай Константинович действительно умер „на славном посту", как был назван сборник, изданный по случаю его юбилея его друзьями и почитателями.

Мне хочется кончить этот очерк словами профессора Н. И. Кареева о нем:

„Он любил жизнь, со всею ее шумной и яркой пестротой, стремился понять ее сам и помочь понять другим, освещая все явления с широкой социологической и этической точки зрения „правды-истины и правды-справедливости".

Похороны Николая Константиновича носили, конечно, торжественный характер. Огромная толпа молодежи, его почитателей и друзей провожала его на Волково кладбище. Но навстречу этой грандиозной похоронной процессии, на Невском, двигалась, патриотическая манифестация, организованная по случаю войны и слышались крики „ура" и пение „боже царя храни"...

Начиналась эра великих потрясений...

СОДЕРЖАНИЕ